

Эстетика убийства

Андрей Бинев



"Я хотел сделаться Наполеоном, оттого и убил..."

Андрей Бинев
Эстетика убийства

«Автор»

Бинев А.

Эстетика убийства / А. Бинев — «Автор»,

ISBN 978-5-373-03932-1

«К треснувшему пыльному стеклу старой деревянной двери вот уже без малого три месяца прилипла криво приклеенная, пожелтевшая рукописная бумажка с полинялым текстом: „Сдается в бессрочную аренду от владельца. Возможны переговоры о продаже дома“. Серая грязь на пороге, три пыльные каменные ступени, ведущие внутрь, корка пыли на подломанной ручке двери и матовое от той же пыли оконце убедительно свидетельствовали о том, что переговоры о продаже и даже о бессрочной аренде были нужны лишь одной из сторон – владельцу мрачноватого домишки с узкими оконцами-бойницами, тихо умирающего за старой деревянной дверью. Этим домом никто, видимо, больше не интересовался...»

ISBN 978-5-373-03932-1

© Бинев А.

© Автор

Содержание

История одного домишки	5
История первого преступления	15
История одной карьеры	31
История одной женщины	38
История одной привязанности	45
История второго преступления	52
История одного телевидения	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Андрей Бинев

Эстетика убийства

Я хотел сделаться Наполеоном, оттого и убил...

Родион Раскольников

Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание»

Пути Господни неисповедимы не только потому, что никому из живущих неведомо, что есть добро, а что есть зло, но и потому, что все явления, ощущаемые нами, не имеют своего начала и не идут к своему концу – они берутся откуда-то из неведомого прошлого, лишь отдаленно, иной раз, неосознанно, связанного с нами, и переливаются в будущее, в котором его участники далеко не всегда повторяют наши черты или следуют нашим традициям.

Из главы «История одного домишки»

История одного домишки

К треснувшему пыльному стеклу старой деревянной двери вот уже без малого три месяца прилипла криво приклеенная, пожелтевшая рукописная бумажка с полинялым текстом:

«Сдается в бессрочную аренду от владельца.

Возможны переговоры о продаже дома».

Серая грязь на пороге, три пыльные каменные ступени, ведущие внутрь, корка пыли на подломанной ручке двери и матовое от той же пыли оконце убедительно свидетельствовали о том, что переговоры о продаже и даже о бессрочной аренде были нужны лишь одной из сторон – владельцу мрачноватого домишки с узкими оконцами-бойницами, тихо умирающего за старой деревянной дверью. Этим домом никто, видимо, больше не интересовался.

Ежели бы кто-нибудь все-таки пожелал заглянуть внутрь, за ту самую дверь, чтобы узнать о чем именно следует вести переговоры с хозяином, то после того, как его глаза привыкли к холодному сумраку, царившему здесь, он разглядел низкие своды, стекавшие нелепыми колоннами с тяжелого неровного потолка наподобие арок в древних храмах или в средневековых замках, вздутый деревянный пол, такой грязный и такой старый, что скрип половиц, казалось, мог поднять на поверхность вместе с фонтанчиками пыли печальные воспоминания о людях, обитавших когда-то здесь, но теперь обращенных неумолимым временем в беспокойные души, не нашедшие себе иного приюта, кроме этого. Стоило шагнуть дальше, и серые пряди паутины с запутавшихся в них пересохшими скорлупками мушиных и тараканьих тел, облепили бы голову, шею, наматываясь на испуганно и брезгливо вскинутые руки неосторожного посетителя.

Свет из бойниц окон почти не поступал вовнутрь, и не только потому, что сами окна по приобретенному за долгие годы цвету мало чем отличались от паутиных прядей, но и потому, что они были прорезаны когда-то неведомым строителем так слепо, что ни в дом, ни изнутри на улицу не мог проникнуть любопытный взгляд. Будто кто-то отсек этот смутный мирок от остального мира, и когда там бурно бушевали человеческие страсти и уплывали в прошлое годы, здесь всё оставалось без изменений.

Вдоль стены, которая слабо все же освещалась из ближайшего оконца, уныло тянулся тяжелый деревянный прилавок с широкой откидной доской. Доска та держалась на двух ржавых петлях с погнутыми, вылезшими наружу, стерженьками. С самой стены криво свисали вниз несколько полок, искусно вырезанных из цельных кусков дерева, покрытых когда-то, видимо,

зеленой, ядовитой краской, а теперь обросшие сухой пылью так плотно и безжалостно, как обрастают раковинами на морском дне некогда стройные тела судов.

А еще в самом центре комнаты, сиротливо лежал на боку грубо сложенный массивный табурет со стертими подошвами ножек.

Вот и вся обстановка, исходя из которой можно было предположить: не то здесь когда-то был трактир, посещаемый разными сомнительными людишками, незаинтересованными в том, чтобы их лица освещал дневной свет, не то располагалась какая-то никчемная контора, не оставившая о себе человечеству никаких ясных воспоминаний.

В дальнем углу комнаты, за одной из массивных колонн, зияла черная дыра чулана. Дверь с петель давно слетела и теперь торчала из чулана одним из своих углов как тело пьяницы, свалившегося на пол в нелепой неудобной позе.

Был здесь и погреб, прикрытый крышкой с ржавым кольцом. Вход в погреб и его квадратная крышка прятались под прилавком, у стены. Крышка чуть провалилась вовнутрь и расохлась.

Случайный человек сумел бы найти для себя аргументов, которые подвигли бы его к переговорам с хозяином этого помещения, тем более что за его порогом пролегал безликая, малонаселенная провинциальная улочка, и немногочисленные ее жители давно привыкли к необитаемости одноэтажного строения с просевшей жестяной крышей.

Но к немалому удивлению старожилки улочки бабки Серафимы, по прозвищу Слепица, однажды рукописная бумажка с оконца исчезла и старая дверь отворилась, чтобы пропустить внутрь новую молодую очаровательную хозяйку.

С этого мгновения начиналась новейшая, современная история старого дома с единственной комнатой со сводами, чуланом, подвалом, деревянным прилавком и резными полками.

Древнюю историю дома уж позабыли, а новая еще не пришла. Но мы вернемся назад и попросим рассказать о таинственной судьбе этого странного строения ту самую старуху Слепицу, которая с незапамятных времен жила поблизости и чей возраст, по мнению немногочисленных обитателей улочки, более подходил старой черепахе или седому ворону, нежели обыкновенному человеку.

Старуха Серафима по прозвищу Слепица

Слепица, Слепица! Да я зрячая побольше некоторых! Вот дед мой... так тот слепцом был от рождения... а как зыркнет своими глазищами, прямо как сквозь молоко, душа в пятки выпадает! Чего, говорил старый, в красное вырядилась, дура! А откуда ему видно, что, скажем, в красное, а не в черное или в голубое, допустим! Леший его знает! Я, бывало, еще совсем махонькой в его молочные глаза загляну, а он хват меня за косу и в пол, в пол пригибает... Нечего, говорит, в душу-то заглядывать...

Родителей своих я и не знала вовсе. Померли они от чего-то, когда я еще сама себя не помнила. А от чего, кто ж его знает! Может, от голода... а может еще от чего-то. От хвори какой или даже убили их... Без них росла... с дедом только. А он не говорил о том ни разу. По загревку крепенько ударит рукой своей сухонькой и всё тут. Другой раз сама не спросишь! ...И еще два брата у меня было. Так они совсем маленькими, в тот же год, что и родители, померли. Вот я и думаю, что одна хворь всех вместе и скрутила... Это я от соседей слыхала. Только это...

У меня глаза портиться стали уже к двадцати годкам... слезились, краснели как ветреное солнышко к вечеру, а потом и вовсе потухли. Слез пролила! Уйму! А к тридцати что-то там в моих глазках-то сверкнуло, даже ослепило будто, и я уж что-то опять видеть начала. Неясно... будто тени набегают. Нет, ежели близко подойду, в упор прямо, так могу и разглядеть чего-то, даже цвет увидеть какой-никакой, а так только тени одни... тени да тени.

Однако я всё равно душой вижу... как дед мой! Ему девяноста девять годков было, когда он помер. Пришел поп, отец Агафон, а дед рукой на него машет, с подушки поднимается и шамкает беззубым ртом: «Иди с миром, батюшка, я тебе все грехи отпускаю... прощаю...»

«Как же ты мне отпускаешь, грешная твоя душа, когда это я тебя напутствовать пришел перед дальней дорогой! Причастие-то прими на дорожку!» – отвечивал поп, а сам краснеет от злости-то.

«Моя дорожка короткая, – шамкает дед, – тебе вон еще идтить и идтить, а мне, святой отец, только раз выдохнуть...»

И выдохнул. А перед тем, за день до смерти, меня за нос ухватил пальцами своими, узловатыми, что твоя веревка, и трясет голову-то! Шепчет старый: «Не гляди в оба! Не дано тебе! У тебя только один глаз и есть... за носом он за твоим за длинным, у нутрях он у тебя. У всего запах свой имеется, Симка! У каждого человека, у каждой животинки, у цвета... У души! У всего! Не только у шей-то! Ты нюхай, нюхай! Плохое плохо пахнет, хорошее – хорошо! Вот какой твой глаз, девка!»

А я уж и не девкой тогда была! Потому что за Пашку Коробкова замуж выскочила. Деду тогда еще и восьмидесяти-то не было.

А он Пашку за человека-то не держал. Ни словечка ему за всю жизнь! Ни здрасти тебе, ни тебе до свиданья! А меня всё так девкой и звал, при нем-то, при живом еще муже... Пашка злился! Говорит, я твоего деда по слепой голове-то туркну чем-нибудь тяжелым, и будет тады опарышей кормить... их, мол, учить будет, анчутка старый! Да не пережил он деда-то! Занемог... Животом полгода промаялся, исхудал весь... А на пупе вот такая опуклость выросла, что твои два кулака, а может даже как горшок, в каком кашу варят! А уж он как мучился! Криком кричал! В последние-то дни даже есть уж не мог! Всё наружу, с кровушкой!

Дед к нему сам прихромал... а Пашка на кровати лежит бледный весь, худой. Дед по голове его погладил, понюхал свою руку и усмехается во весь свой беззубый рот: «Иди, ледащий, откуда пришел! Иди себе...». Вот только это за весь век и сказал ему!

Помер Пашка в тот же день, а дед и говорит мне: «Я ж тебя девкой-то звал, думаешь, зря! Так ты до сей поры девка и есть, а не баба ты никакая! Какой он тебе муж! Не человек он вовсе даже, а так... недоразумение одно. Его не бог приборал, а нечистая сила...»

Дурная хворь была у моего Пашки, вот чего! Давно еще... только хворь та в нем пока что тихо жила, да вот разбушевалась, проклятая... А дед-то ее когда еще учуял! Твой, говорит, Пашка не жилец! А эта хворь, она, мол, прилипчивая! Гляди и сама захвораешь! Пей отвары, дура! Соборуйся, постись, душу-то облегчи!

Я всё делала, как он говорил, дед мой. И соборовалась, и постилась, и траву разную пила, и маслом мазалась, льняным, теплым...

Но замуж-то никто меня более не брал! Девкой ты, говорил дед, до самой своей смертушки так и останешься! Когда он помирал, я и сама-то уж старой была! Какой уж там замуж! Смех один!

Чего? Какой дом? Этот, что ли?

Жилконтора там была, вот чего. Я ещё совсем девчонкой была. Аккурат в тот год, дед меня за косу ухватил, в пол нагнул и про душу-то... чтоб я к нему в глаза-то не заглядывала.

А полки там сосед наш, Митька, вырезал. Он за мной приударял после... А ты думаешь!

Да дед его тоже отвадил! Первым... еще до Пашки моего... Пьяница, говорит, и вор он, Митька этот! А какой же он вор! Так, утянет чего-нибудь на вино, и только! А это разве ж смертный грех? Он и двери выстругал в том доме, и прилавок для конторщика, и табурет даже. А полки-то Митька даже резьбой украсил... Говорил, как мои кудри. Я ведь еще, говорю же, девчонкой была, а он уже того... приглядывался. Ох и ругался дед! У него, говорит, глаз темный... И верно – темный! Дед-то слепец, а всё видел...

Митька на фронте руку потерял... Это потом уже было. Пришел и плачет: иди, говорит, девка, за меня. А тут Пашка опять же... Так и сгинул Митька! Уехал и пропал, бедолага. Эх, а какой столяр был до войны-то! Чо жизнь с людьми-то делает!

Чего тебе этот дом сдался! Темный он, сатана там жил...

Ты о людях спрашивай, а не о доме. Вот этот... как его... конторщик из жилконторы. Как сейчас помню... сатана он. Высокий, худой, как конь, черный, борода клинышком, уса-тый, голова крупная, глаза черные, будто без зрачков даже. Соседи говорили, да я и сама чего-то еще видела тогда... Так и есть Сатана. Да и звали его, конторщика как-то не по-нашему. Стефан... мы его Степаном звали, а он усмехается одним глазом, а второй строго прищурит... и поправляет: Стефан, мол, я, Юзефович. Вот такой был чужак! Каждый глаз у него жил своей жизнью. Умел же, нечистый! На стене у него шашка висела и бурка. Люди говорили, в гражданскую лютой он был конник! Только ведь никто его в гражданскую-то не знал. Сочиняли, должно быть... А еще слышала от людей, в тридцать девятом он воевал с белофиннами... их так тогда все звали. Герой, вроде, был, а тут жилконтора! Чудно!

Жилконтора та невесть для чего была. Тут на улице-то на нашей и в двух переулках народу жило всегда мало, да и те одни родственники: двоюродные, троюродные. Рожали вме-сте, вместе помирали, пили из одной плошки, в одну плевали. Вот так говорили. На кой ляд нам жилконтора! А этот самый Стефан Юзефович до самой войны, до июня сорок первого, каждый божий день приходил, даже иногда по воскресениям, и по ночам тоже жег лампочку. Вроде, как и не спал он. Мальцы наши одно время бегали заглянуть в окошки, да разве ж увидишь чего – щёлка она и есть щёлка. А однажды сатана этот поймал соседского Сашку, сына покойного Митрофана-лудильщика, что жил в конце улицы, да так обогрел плетью, что больше никто и не лазил к нему.

Но какие-то люди туда ходили. Не наши. Мужики, в основном. Днем, может, раз пять за все эти годы наши-то видали их, а ночью... Да кто ж его знает, чего ночью было. Мелькал кто-то, дверь скрипнет, хлопнет и тишина. Чего они там с этим Юзефовичем по ночам делали, кто ж его знает. А еще по ночам машина какая-то приезжала, грузовая. Огнями осветит дверь в доме, кто-то чего-то таскает, пыхтит, потом хлоп дверцами и уезжает, только по улицам пере-валивается в ямах-то, как медведь. И стонет, стонет мотором-то своим, прямо, будто живая.

Один раз Матрена... она по соседству жила, садик у ней сзади к дому примыкал, к глу-хой стене, в энкаведе даже написала: так, мол, и так, нечистая, вроде как, сила тут, контрре-волюционная, можно сказать. Прошу, говорит, принять революционные меры воздействия на сатану Юзефовича. Любопытно ей, должно быть, было. Она грамотная была, у ней отец еще приказчиком у купца Васильчикова служил, детей своих грамоте обучал. Хороший был чело-век, не пьющий. Васильчиков-то балагур и пьяница, а папаша Матренин прямо как культур-ный какой! А как же! Вот Матрена с детских лет читать-писать и умела. Книжки у нее были разные, много... Про разбойников, про королеву и одна даже про революцию. Во как! Ее папашу за эту книжку, при царе-то, при батюшке, в околоток два раза таскали, да Васильчиков выкупал. Уж больно ему такой приказчик был нужен. Так о чем это я? А! О Матрене. Она замуж вышла, а муж в гражданскую погиб... Его уж никто тут не помнит. Высокий такой был, хмурый мужик. Она потом за слесаря одного, тоже грамотный был мужик, во второй раз, стало быть, выскочила. Он потом начальником даже стал... Артель там у него или чего-то такое было... Так его арестовали уже при большевиках и того... Пропал, в общем, мужик. Говорят, «танкист» был... Этот... как его... у них еще главарь такой... фамилия у него... Танковский или Троцкий... Тогда всех «танкистов» арестовывали и сразу к стенке. Одна она осталась, Матрена наша, одинёшенька. Сашка-то, которого Стефан Юзефович плетью поучил, ее ведь сыном был, от слесаря, от «танкиста» от этого. Не помню уж как Матрениного второго мужа звали, слесаря-то. Ей-богу! «Танкист» и всё тут! Не то Николаем, не то еще как?

Вот Матрена за сына, которого плетью огрели, и решила поквитаться с Юзефовичем. Донос в энкаведе написала и лично даже отнесла. Мы всё ждали, что вот понаедут, дверь сломают, окна повышибают, всё вверх тормашками перевернут, а Стефана Юзефовича арестуют. Видали в те годы не раз, как это бывает. Не один Матренин «танкист» тогда был того... разоблачен... «Танкистов» этих хоть пруд пруди... И у нас даже на улице... оттого она и опустела в тридцатых-то годах, и в целом в городе даже. Поглядишь на них... Утром обыкновенно за ними приезжали, ранехонько! Люди честные спят еще, а эти тут как тут! Вроде, черти, прости Господи! Машина черная у них, ворон прямо, ни дать ни взять! Люди так и говорили! И «танкисты» которые... тоже как птицы все, вот те крест! Локти, значит, назад, клювом вперед, к коленям, вниз, хохолок всклокочен, и в черный «воронок» швырк... И нет «танкиста»! Ищи его потом! Общешься! Власть они и есть власть. На то и дана...

А тут ни тебе ответа Матрене, ни привета! Матрена опять писать. Жалуется, значит, на Юзефовича! А чего жалуется-то! Сама-то жена «танкиста», врага, значит... И батюшка ее грамотный был при царе-то! У Васильчикова, у мироеда, верой-правдой служил... Молчала бы! Подумаешь, огрели ее Сашку! А кого не огревали? Почитай, всех! Власть! Я ж говорю – на то и дана!

Но мы все равно ждем, ночами подкрадываемся, на дом смотрим, на оконца, что еле горят. Я еще видела как-то... Не совсем тогда слепой-то была! То так, то эдак!

Да... Ждали, ждали, надоело аж! Мой слепец... дедуня... он еще живой тогда был, конечно... только усмехался всё. «Дождетесь, говорит, беды! Дураки, говорит!» И дождались! Он, мой-то дедуня, всё видел, даром, что сквозь свое молоко... Земля ему пухом! Исчезла, в общем, наша Матрена и ейный Сашка, сынок, значит. Никто, вроде, и не видел, как. За домом приглядывали, а за Матреной и ее сынком и не думали даже. Чего там? Написала-то она всё честно, как было... хоть и муж у ней «танкист», можно сказать. Огрел ведь мальчика-то Юзефович плеткой! С того аж кожа с лица сошла! И вот оно! Обоих, значит, нет. Ни слуху ни духу о них!

Отец Агафон, священник, тогда еще молодой был, только-только приход принял... он у него далеко от нас был... Церкви-то все почти позакрывали, так отец Агафон к нам пешком аж с другого конца города ходил... Так вот, видел батюшка, как кто-то к Матрене на подводе приехал... двое или трое их было... Матрену с сынком, с Сашкой, вытащили, на подводу кинули, всё тут! Больше их никто не видел. Батюшка-то только через год и рассказал, да и то пьяненький был. Он в молодости прикладывался, а его попадья, матушка Настасья, по морде-то его нередко за то охаживала. Смех один! Тряпкой даст, а он как выпьет, слабенький на ноги становится, и кубарем, в сутане путаясь, в пыли, в грязи катается.

А Матрена с сыном исчезли. Вот тут все уши и прижали. Больше никто к дому в те годы и близко не подходил, а как встретится на улочке, на нашей, сатана этот, Юзефович, сразу глаза долу или бегом от него, через плетень, если молодой еще, или обратно поворачивают... пока не скроется из вида. Во какой дом был! Комнатка, говорят, одна, два оконца, глухая стена, крыша низкая, подвальчик, небось... А как же! Дом-то сам старый. А только его решили перестраивать, обновлять то есть... Ну, там стены переложить, полы новые постлать... покрыть крышу-то по новой. Перестраивали его наши... два парня. Их потом в армию призвали, они и не вернулись оба. А когда кирпичи клали, по задней, правда, только стене, впереди-то еще ничего было... потом весь дом белили, полы стлали, крышу заново наводили, рассказывали много. Кто хозяин был... этот... заказчик по-вашему, значит, так это нам неизвестно. Жилконтора, одно слово! Полки-то дверь, да конторский прилавок Митька делал. Так я ж это говорила уже! Женихался он ко мне... Хороший был парень, хоть и пил горькую, проклятую... А кто не пьет-то, опять же? Больные, разве что? А кому они, больные-то, нужны? То-то же! Вот так все языком и цокают! Пить плохо, спору нет, а не пить... может, еще хуже даже!

Однорукий он после войны Митька был... Говорила? Ну, еще послушай! Уехал он и сгинул. Вообще, я тебе скажу, кто к тому дому хоть какое касательство имел, тот сгинул. Вот какой он! И Митька, и те двое парней, что перестраивали его, и Матрена наша с Сашкой, с сыном со своим, и даже сам Юзефович, сатана этот чужеродный!

Война началась, наши город сразу немцам оставили. Без боя, можно сказать. Как не было их! Кто-то еще стрелял... солдатики какие-то... красноармейцы. Они потом с ружьями своими через город бегом... черные все от дыма, значит, обгорелых много, раненых, больных. Один с гранатой встал на вокзальной площади, рыдает, орет, гранатой размахивает. Ну, ему командир их по зубам, гранату отнял и того за воротник... Идем, говорит, еще, мол, повоюем! А городок этот... тьфу! Что за объект, орет, такой! Вся Россия такими объектами полна, говорит! Это люди сами слышали. Про город-то наш... А чего его, действительно, мил человек, беречь-то! Площадь одна всего, единственная, можно сказать красота, посередине... в центре, правда... Поваленная еще в гражданскую колокольня, ее почти всю на кирпичи разобрали. А церковь нашу складом сделали... замки повесили. Сторож кругом всё ходил, с берданом... А еще там мастерская была... где алтарь раньше... с востоку, значит, двери прорубили и хорош! Паяли, лудили чего-то... Ну, две фабрики еще, картонажная, старая, Васильчикова, купца того, что Матрениного отца выкупал за революционную книжку, да жестяная, мастерские... тоже его, пьяницы того. Ну, пристань опять же... там... Склады или как их... пугаусы какие-то, или поганусы... Митька еще говорил, безрукий этот... Ну, чтоб разгружать, значит, товары-то, мешки там разные, проволоку... много чего завозили для торговли. К тому же, железная дорога, прямо к ним, к этим поганусам, подходила, и вокзальчик еще, деревянный такой, на окраине был. Это он сейчас в центре почти... каменный теперь, а раньше-то это самая окраина и была. Да, ну еще универмаг был один, магазинов разных штук восемь на весь город, не более. Полки, правда, скажу я тебе, вечно пустые. Как ни зайдешь, то ревизь какая-то, то еще чего! Товару только нет никакого! Весь на этих, на поганусах остался... Гниет себе там, небось! На кой они, эти магазины без товара-то? Ну, еще автобаза и ремонтные цеха были. Вот и весь город! Одна, значит, главная улица и центральная площадь с Городским Советом в бывшем доме самого Васильчикова, опять же... говорила я уже... мироеда этого, пьяницы... Трентуары... ну, где люди ходят по главной улице... мощеные, и дорога тоже... а еще площадь тоже... Остальное всё – летом в пылище, осенью да весной в грязи непролазной, а зимой – в снегу, утопнешь прямо, ей богу! Не пройдешь – не проедешь!

Ну, чего, скажи на милость, такой город человеческими живыми жертвами от врага держать? Автобазу наши сразу, значит, взорвали, пристань разметали прямо по бревнышку... Из пушки... Стрельнула разок-другой, а потом трактором... Туда-сюда, туда-сюда... И вся недолга! Еще, говорят, старый дом Васильчикова, где городской Совет был, заминировали бомбой какой-то от немцев, от захватчиков, значит, да местный сторож, дядя Никодим, им всё об том сказал. Жалко ему было... Он еще этого Васильчикова лично помнил. Тот ему водки нальёт, сам выпьет... Береги, говорит, имущество семейное наше! Его, выходит, имущество береги... Вот, говорит, тебе, Никодимушка, строгий мой наказ! И денег еще на прощанье дал. Он и берег! Немцы ему за то, что про бомбу сказал, медальку даже свою дали с крестиком, а наши потом с этой медалькой на грудях расстреляли... Когда вернулись... Война ведь...

А дом тот? Чего с ним станется-то? Как стоял, так и стоял. Только Стефан Юзефович исчез, за день до прихода немцев. Думаю, в Москву подался из своей жилконторы. Его на вокзале видели с двумя тяжеленными чемоданами, и еще солдат с ним был, с ружьем, и штатский какой-то, мрачный, небритый, торопил всё. Начальник, небось. Кто видел? Эх! Да я сама и видела... Я ж говорю... у меня тогда глаза еще ничего себе были. Слепота отпустила на малое время. Я близко подошла и всё разглядела – и Юзефовича, и солдатику того, и даже штатского. Чемоданы и то видела! Во как!

От нас до столицы-то сутки пути на поезде, через Псков. Тогда еще прямые были поезда-то. Чух-чух, чух-чух! И белокаменная тебе, матушка наша, красавица! Туда Юзефович со своими чемоданами и укатил. Больше-то некуда! Последним, можно сказать, поездом. Его немцы бомбили, аж город подпрыгивал, но он всё равно дошел! Это точно! Я машиниста знала... Генкой звали. Сам рассказывал. Его потом наши тоже расстреляли, на следующий день после старого Никодима. Как за что! За то, что у немцев не отказался служить. А чего ему было отказываться? Пятеро деток, жена, теща, мать жены, супружницы его, хворала. Она у них с придурью была... лет десять лежала всё... под себя даже ходила, а встать не хотела! Хворь такая... по линии, значит, головы... Кто ж их всех кормить-то даром станет! Вот он, Генка-то, с тем последним поездом обратно вернулся ночью, а утром опять же немцы. Води, говорят, поезда по-прежнему, во славу нашей великой Германии. Потом немцев прогнали, а его самого схватили и к стенке. Сначала Никодима, а потом уж и его. Предатель, мол... А я так думаю, что виноват в этом Юзефович. Кто один раз с ним столкнулся и в его делах участие принял, тот не жилец более. А как же! Кто его с чемоданами в столицу-то вез? Генка! То-то же!

Во время войны... я тогда опять видеть плохо стала от голода, должно быть... к дому я не ходила совсем. Однако слышала от деда, что там нечистая сила живёт. А как же! Немцы и то дом тот стороной обходили. Приехали как-то на своих машинах, мотоциклах, шумели, шумели, полазили вокруг, да и сгнули. Потом поселился один какой-то, младший чин. А однажды утром его мертвым там нашли... его же приятели-немцы. Орать стали, заложников похватили, а потом всех сразу выпустили. Говорят, сердце у него остановилось. Другие говорили, что от пьянки, мол, а я так точно знаю, что не от этого, хоть он и правда пьяницей был. Это все видели. Дом его убил! Нечистая там сила, вот чего! Мужик-то тот немец толстый, большой был, сильный. Это все рассказывали. Я-то уж разглядеть его никак тогда не могла. Ну, какое у него сердце! Смех один, а тут, видишь ли, остановилось, вроде! С чего бы это ему останавливаться? Да еще война кругом. Люди от пуль помирают, а этот боров от сердца!

Потом к нам Красная Армия во всей своей героической красе вернулась. Танками своими надымили, заборы все как есть подавили, от садов... у нас грушевые да яблоневого были, и воспоминаний не осталось. Чего это они? Кто ж их знает.

А в доме том устроили какой-то штаб даже. Стояли недели две, не меньше. Потом приехал какой-то дядька в форме, выгнал из дома тот штаб... орал уж очень сильно. Дед-то мой смеялся всё: «Хозяин заявился, его низость Сатаны посланник!»

В общем, этот штаб из дома выгнали, они-то и вселились в сиротскую Матренину хатенку, а рано утром туда снаряд и ухнул. Немцы-то упёрлись и никак не хотели уходить. Верст за двадцать их отогнали, а они там, черти, окопались и давай пулять оттудова. Снаряды так и ложились вокруг нас. Один в старый Матренин дом прямёхонько и угодил. Матрену-то с сынишкой еще до войны на подводе куда-то увезли. Так я ж говорила... вроде! А от снаряда того одни головешки остались... от их хатенки-то. Всех до единого накрыло штабных тогда! Человек аж пятнадцать или даже поболее того их было! Вот тебе и дом сатанинский! Кто с ним свяжется, тому жизни нет.

А дядька в форме к тому времени дом тот печатью-то законопатил, замок навесил и был таков. Его тоже никто ни тогда, ни после больше не видал.

Война к концу подошла, стали солдатики возвращаться – кто хромым, кто одорукий, кто слепой, а кто и вовсе обрубок: худое тело на дощечке с этими, как их, с колесиками с такими... вместо ног, значит. Палочками отталкиваются и едут себе. Таких у нас в городе пять солдатиков собралось. Они поначалу все на привокзальной площади сидели: медальками звенят, морды пропитые уж, потому как ни к чему их более не приставишь, просят, просят, плачут, матюгаются... Люди дают копеечки свои... у народа-то денег как не было, так и до сей поры нет... Кто хлебушек с луковицей, кто картошечки, а кто и стакан нальет им, самогоночки, а то и водки даже. Летом-то ничего еще... тепло. Они к ночи на железнодорожную станцию

заедут на своих колесиках, выпьют болезные самогончику или что поднесут им, и до утра себе кемарят, а утром обратно на площадь медальками-то звенеть. Народ ходит, тяжело вздыхает, слезу пустит, да кому ж до них дело-то! У каждого своя беда...

А тут пожалуйста тебе осень, дожди... К нам с проверкой из столицы комиссия приехала. Выходят разные там важные дядьки да тетки из вокзала, глянь, а на площади победители на колесиках, с медальками, голодные, пьяные... Что, говорят, за безобразие такое у вас тут творится! Почему такой непорядок! Кто позволил!

Ну, тут быстренько их собрали... солдат из одной части поблизости от нас пригнали, покидали их с досочками и с медальками в грузовик, на задок, значит, в кузов... и давай по городу под брезентом возить, место для ночлега искать. К нам на улицу заехали, глядят на этот, значит, дом. Нравится он им, ничейный, теплый, вроде. Ну, их старшина, солдатиков тех, что инвалидов возили, командует:

«Давай сюда всех бойцов! Кати их на новое жительство новоселье справлять!»

Я это, можно сказать, своими ушами слыхала, потому как, когда их к дому-то подвезли, я аккурат по улице шла, в магазин за керосином, за штaketник держалась. А тут слышу гудит машина-то, трясется аж вся. И старшина орет благим матом. Его солдаты «товарищем старшиной» называли, я потому знаю... «А как же, говорят, товарищ старшина, с довольствием?»

«Зачислим, отвечает, за частью, временно. А там видно будет. Город пускай заботится о героях».

«Так они же все, почитай, не местные... – говорят солдатики, – их с эшелона ссадили полгода назад, чтоб они в Москву не ехали, в столицу... Там, говорят, своих хватает!»

«Ну и что, что не местные, – отвечает опять старшина, – они победители, а таких надобно уважать, хоть у них ног нет, а у двоих и вовсе по одной руке!»

Вот так их свалили с кузова, значит, замок с двери сбили и всех туда затолкали. Старшина послал солдат по домам временное довольствие собрать, за самогонкой, за картошечкой, за хлебом, как водится. Солдатики еще и матрасов натаскали, кинули инвалидам старые шинельки, мешки какие-то под голову и укатали на своем автомобиле. Больше их тут не видел никто.

Жили обрубки эти тихо, потому как до вокзала добраться не могли, народ посторонний здесь не бывает, тут и просить не у кого. Мы им сами довольствие носили. На пороге положим и бегом, чтоб они нас матюгами не обижали. А они матюгались крепко! Нажрутса самогонкой-то и давай всех и вся костить... А чего еще им оставалось-то! Здесь их, уродов, ни одна столичная комиссия не найдет! Вот так и было! Участковый и тот стороной обходил. Сам-то калека тоже, одна рука еле шевелилась и шрам через всю морду, через глаз, волос нет, голова обожжена. Тоже, воин, вояка... А как выпьет, жену да сына смертным боем лупит, хоть святых выноси! Вроде, как все у него виноватые! И жалиться-то некуда! Он ведь власть и был! Сам по себе, можно сказать! А в дом тот не ходил. Тоже боялся...

Месяца три жили инвалиды в доме, зима уж, холодрыга! Голодали, болезные, ужас как! Исхудали, как черти... Дед-то мой меня, почитай, через день гонял к ним – то с мешочком картошки, то с лучком, с морковкой, даже мясца носила, кур, а то и с яйцами, с хлебушком. Да всего понемногу, им на зубок. Еще двое соседей также, да училка из города денег им приносила от своего жалованья. Оно у нее и так, что воробью на зернышко не хватит, а носит. Сама худющая, аж светится... Городские власти об них и вовсе забыли: как говорится, с глаз долой и из сердца вон...

Потом один из них помер, не проснулся утром, потом второй захворал, кашлял так, что, ей Богу, по всей улице слышно было! Училка доктора привела, он поглядел на них, головой покачал и говорит: «Ежели их не пристроят куда-нибудь под надзор, все к весне перемерут». Тот, что хворал, к утру тоже отдал Богу душу. Осталось их, значит, трое. А тех двух, которые померли, вынесли санитары... они из районной больницы были... и в свой морг утащили, после

закопали на кладбище в одной могилке обоих, звезда сверху и что-то там написали: имена, фамилии, даты... Я не видела, люди рассказывали... Несли-то их из дома легко, они маленькие, легкие, худые – без ног, а один и вовсе с одной рукой. Малые дети, и те тяжелее... Э-хе-хе! Жизнь кому малина, а кому крапива... Уходили на войну здоровыми, а вернулись получеловеками.

Училка к городским властям побежала: давайте, говорит, всем миром остальным поможем. Нас-то, мол, много, а их всего-то трое героев осталось, с медальками, на колесиках. Заместо ног, значит... во как! Техника, выходит, прогресс! Это она, училка, так говорила, и всё плакала.

Потом ее забрали за то, что она письмо самому товарищу Сталину написала о героях на колесиках и с медальками. Приехали из столицы и говорят, клевета на общество всё это. Не бывают у нас такие герои! Наши герои все славой обласканы, а тут какие-то обрубки жалкие... Следом за училкой и эти исчезли. Как-то ошупью к дому подхожу, чтобы на пороге вареной картошечки с хлебцем оставить, щупаю дверь-то, а на ней обратно замок. Я к деду, он уже совсем старый был, а мой Пашка тогда в столицу укатил... хворь свою сначала, вроде, лечить хотел... Ну, вот, а дед на меня шипит: «Заткнись, дура! А то и тебя за твоими получеловеками увезут... Училка, вон, болезная, где теперича? Где она клеветает нынче на общество? Небось, за Уралом?»

Вот вам и дом! Кто с ним свяжется, у того конец близок.

Так он года два и простоял запертый, холодный. А однажды приехали какие-то люди и стали его по новой ремонтировать. Побелили, крышу залатали, тряпье, что от тех инвалидов осталось, вынесли, перед домом, прямо на дороге облили керосином и сожгли. Смердело ужасно как!

И тут к дому как раз солдата приставили. С ружьем, все как водится. Стали туда разные люди опять приезжать, больше по ночам. Часовые были неразговорчивые, чуть что, винтовку вперед. «Проходи! – говорят. – Не заглядывай».

Мы уж привыкли ко всему, кто ж туда заглядывать-то будет! Ясное дело, нечистая сила! Ворота это в ад! Вот чего! Ты меня хоть режь, хоть в пыль рассыпай! Дед, помирая, так и сказал: «Дьяволово логово! Не лазь туда! Там у власти свой ход в адову жаровню имеется!»

Я уж старая, деда по годам пережила... И всё никак не уйду! Надоело всё, поговорить не с кем. Что расскажу, не верят. Живых-то из прошлого никого уж! Прибрал бы меня Господь, так я б ему услужила... Не знаю, как, но как-нибудь бы услужила. Я уж и не вижу ничего, слышу плохо, язык еще ворочается, да память есть. И то спасибочки!

А что с домом потом? Кто ж его знает? Как власть сменилась, так его заперли и, может, раз или два отпирали всего. Склад там сделали, нитки с нитяной фабрики держали... ее после войны у нас открыли, а то людям работать-то негде было. Так те нити все погнили, их выбросили... Тоже посреди улицы день целый жгли. Потом жесьь туда завезли, чтоб крыши ремонтировать. Да, говорят, местное начальство жесьь ту растащило, ночью всю вывезли и на дверь опять замок навесили. А начальник, который этим занимался, в своем доме вместе с женой и дитем живым сгорел. Ага! Так и было! Жесьь вывез, а на другой день сгорел. Потому что лично в дом ходил. Двое работяг, что жесьь носили, и шофер из города сразу укатили и больше не вертались. У одного из них, у шофера, жена по соседству с нами долго еще жила, с двумя детишками. Говорит, пропал муж. Вроде, в Сибирь на заработки подался, да ни слуха, ни духа с тех пор. А я молчу, потому что знаю: это всё тот проклятый дом! У него один был хозяин... Тот, что сначала Юзефовича сюда прислал, а потом всех повывел, до корня! Сатана, одним словом! Хоть ты меня заживо вари, так его звать, проклятущего!

А еще говорят, что под нашим городом подземный ход имеется. Его еще с давних времен рыли бояре, чтобы как враги подойдут к стенам города... от стен-то тех одни развалины остались, травой поросли да кустами... в этот ход спуститься и уйти в заграничу, туда, к панам...

Длиннющий он, узкий... Об нем мой дед знал, он мальчишкой по нему лазал... Слепой, огня не надобно ему было. Он там, в том ходу, перед всеми зрячими имел преимущество... Потому и любил о нем вспоминать. Но где в него спуск, никто не знает. А я вот думаю, что под тем домом. Для того его потом и строили...

А на месте дома, люди говорят, когда-то очень давно, в старину часовенка с колокольной стояли. Их, дед рассказывал, пожар спалил, а ему его дед говорил об том. Я в нашем дворе нашла даже старый кусок от колокола, черный, обгоревший, он в землю на полсажени зарылся. Яму копали для чего-то, я и нашла... Дед говорил, с той колоколенки он. А чего здесь колокольно-то делать? Думаю, над тем ходом и стояла, прятала его. И еще думаю, что не в заграницу он ведет, а в преисподнюю. Я деду сказала, когда он еще жив был, а он осерчал, хлоп ладонью по столу: «Молчи, девка! Не знаешь ничего, дура слепая, так и молчи!»

Вот такой рассказ бабки Серафимы по прозвищу Слепица. Ей уже тогда за девяноста лет перевалило, а она всё шамкала и шамкала. Память у нее была завидная, как у молодой, хоть и не видела она уже совсем ничегошеньки, да и слышала с трудом великим. Вскоре бабку Серафиму прибрал Господь. Похоронили ее на окраине городского кладбища, могила вскоре заросла чертополохом, потому что смотреть за могильным холмиком было некому.

Да и нам эта Слепица, всю свою долгую жизнь прожившая на окраине маленького городка и не покидавшая по большей части своей ненаселенной улочки, больше не нужна. Она поведала нам историю своей жизни, которая переплелась с историей однокомнатного, мистически жутковатого домишки, с печальной историей короткой жизни большинства его обитателей. И исчезла, как исчезает все, как исчезнем когда-нибудь и мы: и те, кто пишет, и те, кто читает, и те, кто не знает, как делается и первое, и второе.

Жизнь людей разобщает, а смерть уравнивает. Не перед людьми... Перед Богом.

Однако ж через много лет после смерти Слепицы на том доме, на сером стекле двери, которую невесть когда поменяли, а Митькину входную дверь давно уж сожгли, появилась рукописная надпись о сдаче в аренду или даже о продаже здания.

Покупательница нашлась: молодая, столичная штучка. И дом с единственной своей ничемной комнаткой, прилавком, полочками и старым табуретом вновь зажил странной, тайной жизнью.

Если бы тогда, когда Слепица рассказывала свою странную историю о мрачном том доме, кто-нибудь предугадал, чем всё это кончится, возможно, что-то еще можно было бы изменить.

Но что возьмешь с ее случайных слушателей – желторотых студентов-историков, присланных в Псков на раскопки, иными словами, на научную археологическую практику! А они приехали в древний городок, стоявший когда-то на границе (и теперь он на границе, потому что пограничная полоса опять вовнутрь России придвинулась), и совали везде свои любопытные молодые носы. Попалась им забавная слепая старуха, сочиняла гладко, дом какой-то тут же рядом, двери заколочены, покосилось всё... какие-то подземные ходы... Студентики, собственно о них слышали, в одном в Пскове, к тому же и копались всё лето. Но тут рассказы о подземельях выглядели очень уж фантастическими и даже мистическими.

Если бы они знали, если бы они только знали!..

История первого преступления

Преступления, совершаемые в мире с того самого первого дня, как мир себя помнит, все имеют одну и ту же историю, и если взглянуть на них с высоты человеческой жизни, или, вернее, из ее мрачных глубин (тут как космос – никогда не знаешь, где верх, а где – низ!), то увидишь, что проистекают они из четырех равновеликих друг другу побуждений: меркантильности, неосторожности, заблуждения и отчаяния.

Меркантильность – это жадность и зависть;

Неосторожность – это глупость и легкомыслие;

Заблуждение – это наивность и духовная слепота.

Отчаяние – это безысходность и боль.

Значит, вся преступность – это жадность, зависть, глупость, легкомыслие, наивность, духовная слепота, безысходность и боль. Нередко эти качества переплетаются друг с другом и появляется уродливый монстр, который был бы монстром и без этого сплетения, но, может, не так уродлив, а порой, даже смешон. Однако же это смех сквозь слезы, причем, не только жертв, но и самих виновников.

Сыщик, рыскающий по свету в поисках преступников, обречен на то, чтобы сталкиваться с жадностью и завистью, с глупостью и легкомыслием, с наивностью и духовной слепотой, с безысходностью и болью. Как же портит его такая жизнь! Каким внутренним сопротивлением должна обладать его душа, чтобы противостоять тому, что кажется ему естественной материей, из которой соткана эта видимая ему часть жизни!

Сыщик Максим Игоревич Мертелов по прозвищу Наполеон, подполковник уголовного розыска.

Сколько помню себя, столько я страдал! Был мальчишкой, невысоким, худеньким, болезненным «маменькиным сынком», битым во дворе и в школе, страдал от неуважения со стороны товарищей – от презрения со стороны старших и жалости со стороны младших.

Вырос, окреп, научился давать сдачи (иной раз, даже больше, чем следовало – это называется «превышением необходимой обороны»), опять почувствовал себя несчастным, потому что старшие стали меня побаиваться, сверстники сторониться, а младшие поглядывать как на машину, готовую в любую минуту пойти вразнос.

Я всё думал, а почему я пошел в сыскари, почему нацепил на себя пистолет и власть, да еще со страхом, что они когда-нибудь сольются в одно и тогда жди беды? И решил, что по той же причине, почему в своем битом детстве стремился попасть не в шахматные клубы и не в настольный теннис, а в секцию по тяжелой атлетике, в самбо и дзюдо, в бокс и в вольную борьбу. Смешон я был на татами – маленький и злой; жалкий в своем страстном желании выжить в мире надменного презрения и жестокой силы. Так ведь я не просто выжить хотел, я хотел там верховодить, и за каждую издевательскую усмешку являть свою немилость, свою опасную, бессердечную агрессию!

Я с самого начала понимал, почему «наполеоны» почти всегда коротышки, их дух стремится компенсировать недостаток роста и природную физическую силу, данную другим, а не им. Потому что мы тот самый подвид человека, который впитал в себя понемногу от каждого преступного качества и замешал это в своего собственного Монстра, который живет в нашей душе: жадность, зависть, глупость, легкомыслие, наивность и духовная слепота. Бороться с ним, с этим Монстром – и есть главная задача до самой смерти тела, в котором он прижился. Но увидеть его также трудно, как найти хладнокровного убийцу или вора, поэтому и бросаешь все силы на поиск его не в себе, а в других. Отсюда жестокость власти «наполеонов», отсюда серое, свинцовое сияние в их глазах, отсюда их вечный страх быть разоблаченными в слабости

и в бессилии. Они ищут это в других, и, особенно талантливые и удачливые, находят. Вот так появляются запоминающиеся политики и сыщики тоже. Иногда это один и тот же человек – неважно где он служит и как называется его социальная роль. Спектакль на сцене развивается захватывающе остро, а зал испуганно притихает – а вдруг действие просочится из-за рампы к зрителю!

Я – всего лишь сыщик. И я бьюсь со своим монстром и ищу его повсюду – его точное отражение. Говорят, поставить диагноз, значит, наполовину побороть болезнь. Так вот, я лечу свою жизнь, по крайней мере, ее вторую половину. Мною ведет страх, а его лечит жестокость, ведомая хитростью.

Для людей некоторых беспокойных профессий утро наступает вовсе не так, как для всех. Оно приходит не в тот миг, когда из-за неровных, гнилых зубов городских строений солнце посылает миру утреннюю светлую зевоту, а лишь когда они сами, очнувшись от своих ночных трудов, вдруг обнаруживают, что затянувшаяся ночь, оказывается, уже прошла, и дело сделано.

Это то самое время, которое разделяет людей по их прошлому, по их настоящему и, скорее всего, непременно разделит по их будущему.

Такова природа человека – одни наслаждаются теми мгновениями, которые приносят другим печаль и заботы. Один сладко спит, обняв любимого человека, а другой занят тем, что и в другое время не каждому по плечу.

...Не помню, когда всё началось – вроде бы приснился мне сон, что стою я на берегу тихой, но полноводной речки, а тут откуда-то сверху срывается в ту речку бурный поток. Он всё смывает вокруг, закипают воды, беснуется в них жирная, серебристая рыба. Одна из рыбин выпрыгивает из волн и прямо ко мне в руки. Я смотрю на нее, а она на меня. Оба дышим тяжело, в предсмертной тоске.

Я очнулся и тихонько шмыгнул в кабинет к компьютеру, чтобы заглянуть в сонник. Моя жена, Майя Владимировна, стала бы надо мной смеяться, потому что я всегда с презрением относился к этим «бабьим сказкам», а она им доверяла. И поймай она меня на этом, издевалась бы долго, во всяком случае, до тех пор, пока я не рявкнул бы на нее. Но она еще спит, и я открываю сонник по Миллеру.

«Вода: будете бороться, сопротивляться злу».

Хорошо хоть не мутная, а то понаделал бы ошибок уйму!

«Рыба (ведь там была еще жирная рыба!): для юной особы – счастливая любовь»

Но я не юная особа, мне сильно за сорок, я низкорослый, шуплый мужичок, и к тому же – всего лишь подполковник, когда другие в этом возрасте уже и генералы! Черт бы их всех побрал, этих генералов! Мне по Миллеру другое грозит:

«Поймать рыбу – значит, серьезные испытания, которые я стойко перенесу, сохраняя присутствие духа».

Но Миллер мог и ошибаться. Заглядываю к Фрейду.

«Вода – связана с одним из основных символов по зачатию детей и оргазму. Поток или струя воды символизируют семьяизвержение».

Боже! А что я еще ожидал от Фрейда? Вот он от меня ожидает совершенно определенные вещи. Хорошо, если бы он оказался прав, а не Миллер!

Но рыба! Что такое «рыба» во сне по Фрейду?

«Рыба – ерш, как любая рыба, символизирует пенис».

Вот, значит, что прыгнуло мне в руки. А жирненькая-то рыбешка из сна, пожалуй, на крупного ерша была похожа.

Мне определенно нравится Фрейд с его догадками! Но на всякий случай еще одно мнение выслушаем. Старуха Ванга, покойница.

«Вода – символ изменений, разрешения противоречий, эволюция, обновления, смывания грехов и забвения. Если приснилось, что на вас сверху льется вода (а это приснилось!), то это предзнаменование грядущей на вас волны космического влияния, сопротивляться которому неразумно».

Но была вначале рябь, и только потом – бурный поток. Что там у старухи Ванги?

«Круги или рябь на воде – вы с трудом перенесете грядущие перемены, но, выстояв в этом бурном потоке событий, вы обретете власть над собой и другими людьми. Ждите новостей, которые в корне изменят ваши мироощущения и взаимоотношения с людьми».

Ну, хорошо! Хорошо! А рыбы? Что там рыбы у старухи говорят?

А ничего они у нее не говорят! Нет у нее рыб и не должны они сниться. Поэтому обращусь к Нострадамусу. Тоже – толкователь.

«Рыба – символ двойственности и затруднений, увидеть падающую с неба рыбу (а ко мне она почти что с неба свалилась!) – дурной знак. Катастрофа... (почему-то экологическая, откуда Нострадамусу про экологию было известно!), бедствия».

Про бедствия он, наверное, знал. Вся жизнь – одни бедствия или короткий перерыв между ними.

Подведем итог! Мне предстоят испытания, требуется сила духа и стойкость, еще там что-то про любовь и пенис (про мою ли любовь и про мой ли пенис?), обновление, смывание грехов, забвение, волны какого-то влияния, кажется, даже космического, и еще катастрофа с экологическими чертами, бедствия, одним словом.

Я не успел погасить экран, как за моей спиной тихо хихикнула жена. Я тут же рывкнул на нее, чтобы прекратить дальнейшее развитие ее триумфа. Она обиделась и, сжав губы, пошла-пала обратно в спальню. Тут и зазвонил телефон.

Говорил мой невыспавшийся в субботу шеф:

«Давай-ка собирайся скоренько, выезжай в Кривоколенный. А точнее, в Банковский. Это почти один черт! Там труп писателя Игоря Волей. Черепушку ему проломили, подарочным топориком войны, индейским. Гениальные мозги растеклись по ковру».

«Собирать-то поздно уже, небось?» – глупо пошутил я.

«А ты попробуй. Может, тебе пригодится?» – так же глупо и мрачно отвечивал мой шеф – полковник Влад Каренин.

Неважно, кто на его месте. Главное, что не я. Век бы их всех не видеть и не слышать! И себя заодно. Мы все похожи – шутим по-сапожному, живем по-дорожному.

Вода, рыба! Вот они Миллеры, Фрейды, Ванги, Нострадамусы! Топориком по гениальному черепу. Интересно, кому снился сон о том же самом перед стремительным полетом ледоруба над головой Троцкого? Самому Сталину? Тоже маленький был, щупленький, злой и мстительный. Сыщик всесоюзного масштаба! Да и Троцкий... маленький, щупленький, злой и мстительный. Кому из них снился сон с водой и рыбой? Читал тут у одного писателя, не Волея... Там что-то про какую-то гигантскую рыбу, про осетра, которого де Голлю в Томске подарили, в 66-м. Три тома о том, как одна рыба прокатила не себе целое поколение. И сбросила в омут! Может, эта рыбка мне приснилась?¹

Но там еще что-то про любовь и пенис у Фрейда? Это-то какое имеет отношение к вырытому кем-то топориком войны?

Ссора с женой была прервана убийством Игоря Волей. Она как раз перед сном увлеченно читала его последнюю книгу о всепрощении. Дочиталась! Майя всхлипнула, услышав от меня, куда я еду, и тут же прижала к груди симпатичный томик покойного уже писателя. И посмотрела на меня с любовью и состраданием. Я кинул взгляд на себя в зеркало у выхода из квар-

¹ Имеется в виду трилогия автора «Рыба для президента», «Операция «Пальма Два» и «Дорога домой».

тиры и подумал, что не достоин ни того ни другого. Это, наверное, было предназначено гению Волею, а не мне. Передам, при случае...

Несколько наших автомобилей, в основном, черных, мрачноватых, прижались к тротуару Кривоколенного переуллка, ближе к углу с Банковским. Водители привычно курили, сбившись в кучку. Увидели меня, безразлично кивнули и сразу отвернулись. Будут судачить, зубоскалить – это профессиональная привычка водителей большого начальства, которые мечтают быть пассажирами своих машинах. Некоторым в конце концов удастся, но это уже другая история, не всегда криминальная.

Съемочная группа городского телевидения «Твой эфир» уже топталась у подъезда. Выгнал бы всех к чертовой матери, если бы только их владельцем и начальником не был мой школьный приятель Андрей Бобовский. Кроме них, никого из «борзописцев», даже государственных и полугосударственных каналов, нет Эти либо ничего еще не знали, либо команды из Кремля не получили. В верхах, должно быть решили, как и обо всем прочем: а вдруг рассосется? Мозги сами соберутся, в черепушку зальются, топорик повиснет на крючке на стене, рядом с перьями индейского кокошника, и я вернусь к утренней, субботней ссоре с женой. Они всегда так думают. По любому поводу.

Я косо посмотрел на корреспондентку, хорошенькую дурочку с загорелыми ножками-палочками, светлоокою, светлоголовую. Она стояла с микрофоном у парадного, а в нее безжалостно прицелился оператор, неряшливый бородач среднего возраста с пропитым, алым лицом.

«Труп Игоря Волея обнаружен его другом, театральным режиссером Олегом Павлером. По слухам, у Игоря Волея и Олега Павлера вот уже полгода как устоялись самые обычные дружеские и творческие отношения. Но это – по слухам, которые, конечно, предстоит проверить следствию. А вдруг, именно в этом кроется причина убийства? Например, ревность, обида, мгновенная ссора? Ведь фразу о том, «милые ссорятся – значит, любят», не всегда следует понимать буквально? Не отключайтесь от нас. Мы еще выйдем в прямой эфир. Тем более что наша съемочная группа здесь пока единственная из всех компаний. С вами была – Алла Домнина».

Я ухмыльнулся – милая девушка, славная узнаваемая репортерша Аллочка Домнина уже даже главную версию построила – и наконец решился войти в подъезд. Не люблю попадать в кадр. Это не моя профессия. Иногда, правда, хотелось бы чего-нибудь такого, да и Бобовский не раз умолял, но я всего опасаюсь. Такой вот я застенчивый! Не люблю свое отражение, опасаюсь своего косноязычия, и потом, начальство приревнует к известности. Отомстит. А полковника-то получить хочется! Ну, что за карьера такая офицерская, без полковника! Без папахи, хоть и нет ее сейчас уже, лихой этой кавалеристской папахи! И шашки нет. Ни кавалеристской, ни «селедки» жандармской. А жаль! Пригодилась бы...

Одному моему старому, ныне покойному родственнику должны были дать сразу за майором полковника в 39-м. Не было тогда еще этого оскорбительного звания – «подполковник»: и полковник, вроде, и недополковник какой-то! Всем его товарищам, сокурсникам по академии, дали, а ему срок подходил лишь через месяц после них, в сентябре 1939-го или в июле 40-го. Не помню уж, когда именно. Так вот, за этот роковой месяц высочайшим указом ввели вдруг между майором и полковником этого самого «подполковника». Он чуть умом не тронулся! Так и отстал на всю жизнь. Многие из них уже генералами стали, а он только к началу войны сподобился до полковника. В этом звании, с двумя академиями, одной диссертацией и многолетними окопами и помер.

Так что мне рисковать ни к чему! Нечего тут отсвечивать. Пусть Андрюха Бобовский сам перед своими камерами стоит, а мои камеры другие, они без кнопочек и оптики. С решетками и тяжелыми дверями. Будем ждать своего «полковника»! Если дождемся, разумеется.

Но вот интересно, откуда о трупе узнали люди Бобовского? Кто-то из наших в дежурной части информирует? Думаю, не из альтруистических соображений. Надо бы покопаться! Однако же это потом, сейчас – топорик войны рядом с раскроенным черепом гениального писателя. Да, кстати, мысль о ревности режиссера Павлера не так уж и беспочвенна! Вот она, первая версия, Аллочкина. Устами младенца глаголет истина. А вообще-то, так уж повелось, что виновен у нас, как правило, тот, кто первым труп находит. Ему все шишки! Принесшего дурную весть первым и накажут. На плаху его! Хорошо, если найдется другой потом, виновный, а если нет? Так и будут мучить, склонять во всех секретных и несекретных справках, предназначенных высокому начальству, окружать со всех сторон, залезать везде, всё вокруг пачкать.

Олег Павлер стоял потерянный на лестнице и лил тихие, отчаянные слезы. Он – молод, хорош собой, черноок, высок. Игорь Волей, наоборот, был низкоросл, полноват, немолод – почти под пятьдесят. Но богат! Удачлив! Любим публикой, и, видимо, не только ею.

Я косо посмотрел на Павлера, стрельнул в него внимательным взглядом... у таких, как я, всегда скрыта мысль о том, как бы кого вывернуть наизнанку и вызнать всё, что рвет его душу. Это – взгляд сатира, готовящегося к сладкой оргии. Но не к той, к которой Павлер, наверное, всегда готов? Тьфу! Какая же я мерзость!

Павлер на мгновение поднял на меня печальные, влажные глаза и вдруг со страхом кивнул, будто знал, кто я и зачем здесь. Я отвел взгляд и шепнул местному сыщику, что, видимо, борясь с усталостью, торчал здесь уже второй час подряд: «Этого потом ко мне, найди, где поговорить можно».

Сыщик буркнул в ответ: «Найдем. Только мы уж поговорили. Дружок он его... Волея. Они почти накануне поссорились, так он явился мириться. Да вот только не с кем уже...»

Я кивнул и осторожно приоткрыл дверь в квартиру. Тут уже работали судебный медик, эксперт и прокурорский следователь. Я знал этого следака давно – сын одного влиятельного азербайджанского прокурора, пижон и дамский угодник, томноокий красавец Карен Арагонов. О нем когда-то с завистью сказал его сокурсник из московского университета, тоже номенклатурный сынок, у того папаша важным чекистом был: «Карэша счастливчик! Он никогда не знал неудач с женщинами в постели. У него там пружина, а не тряпичная кукла, как у некоторых... Поэтому смело прыгает на каждую, кто ему понравится. Не было облома еще... Всё получается с налета, сразу и крепко!» Я тоже позавидовал Карену в тот момент, потому что у меня с этим как раз проблемы: волнение идет впереди желания и иногда его подменяет. Отсюда и сдержанность. Не то, что у таких... быков-производителей! Всё всегда наготове, на взводе... Карен мне нравился за это и за интеллект, удивительным образом сопровождающий его либидо.

Увидев Арагонова, я даже обрадовался. Не будет скучно, постно не будет. А ведь я мог его и не любить. Было за что, и он об этом знал, прятал томные черные глаза.

Как-то один наглый рецидивист из Закавказья, горец один, хромой, жестокий, тщедушный тип, пожаловался на меня уже после приговора (пятнадцать лет строго режима за серию кровавых разбойных нападений на квартиры, где во время нападений оставались лишь дети), будто я ударил его по щеке во время допроса. Я и ударил! Еще как ударил! У него башка почти отлетела, и если бы не стена сзади, то точно бы оторвалась. Он тогда грохнулся с табуретки и пыхтел на полу, шупая челюсть. Потом поднялся без моей помощи, а я ему – коленкой под ребра, и он опять осел со стоном. Мне ничего не нужно было от него, ни словечка! Всё и так было ясно, всё доказано. Просто очень хотелось его удавить, эту сволочь! Удавить нельзя, а дать по морде надо!

Я тогда искренне так считал... Кроме меня, мол, некому больше. Он ведь из «законников», вор, а таких никто и пальцем не тронет. Нигде! Родители тех детишек, а их было семеро, в семи случаях с квартирным разбоем, его точно удавили бы! Не за то, что ограбил, а за то, что лишил их детей пожизненно иллюзии защищенности от мерзости и корысти. Иллюзии незави-

симости от внешних опасностей, иллюзии надежности отчего дома. Это – преступление высшего порядка! Это покушение на святая святых! На крепость родового гнезда!

И вот что еще – все эти несчастные были по рождению из тех же мест, что и тот ублюдок. Их выслеживали, щипали сначала, как хотели, а они сопротивлялись потихоньку. Не желали платить всякой нечестии. Вот и приходили к ним домой, уже в Москве, и брали сами. Квартиры богатые, как правило, заметные. А люди, по большей части, врачи – кто-то со спортом связан был, кто-то даже в научном институте работал – один артист, лицо запоминающееся, и еще один композитор. Его песни всей страной самозабвенно горланили. С какой стати они будут уголовникам от своих щедрот отделять! За что?! Надоело. Отказались. А те говорят: «Будете! Потому что это для «подогрева» зоны, «общак», мол. Власти московской национальное наше сопротивление. Абрекам, героям нации! Смелчакам! Каждый делает свое дело. А вы в столице живете, жрете в три горла, власти этой верно служите. Вот и платите теперь своим!» Вслух-то, может быть, и боялись это сказать, но намекали. И приговорили их. А главное, дети одни дома. Маленькие, беззащитные, доверчивые. На родной язык родителей дверь сами открывали, с улыбкой и готовностью. Уважали земляков...

Так вот я за них ему по морде и дал, и по ребрам коленом.

Одно убийство к тому же ему доказали в суде. Это сейчас не стреляют в неволе, а тогда палили вовсю! Суд состоялся, ему вынесли «вышку», но кто-то там наверху пожалел хромого ублюдка, и расстрел заменили на пятнадцать лет. Он, вор этот, сдал прямо на суде каких-то своих конкурентов по «бизнесу» из другой, соседней закавказской республики. Такая же банда, говорит только на другом языке. С потрохами сдал и таким образом вымолил себе жизнь. Отправили его с этапом на зону за Урал, а там уже прознали о его делах и послали в Москву, к тем, кто еще пока на воле верховодит всякими разными воровскими «правилками», по своим тайным воровским каналам, вопросик один серьезный: стоит ли, мол, наказать? А сначала «ссучить» его, то есть лишить «сана» авторитетного вора? Стоит, отвечают. Кто-то встретился с родителями тех детей, кто-то за это дело даже заплатил, и гаду этому вынесли второй приговор, неофициальный, без права обжалования. Казнить, нельзя помиловать! Запятая, где надо. Тут хромоногий наделал в штаны и давай срочно жаловаться в Москву – побили, мол, меня на допросе, желаю возмездия! Он знал, что на одну и ту же зону дважды не отправляют, это давало ему хоть какой-то шанс. Хотя... шанс-то сомнительный. Эти где хочешь найдут.

Его обратным этапом привезли в Москву, в Бутырку. Дело досталось Карену Арагонову, моему собутыльнику и приятелю, а подозреваемым был, конечно, я. Карен допросил меня, не строго, почти шутя. Я всё отрицал, разумеется, зато хромоногий кавказец давал показания точно. На меня начал с прищуром смотреть срок – года эдак четыре, в зоне строго режима, на Урале или в Казахстане (тогда мы одной страной были) в зоне для особых осужденных, допущенных до разных там государственных секретов. Вот как обстояло дело! Ни больше, ни меньше! И стоило мне дать слабину, ошибиться, и мой же приятель Карен Арагонов предъявит мне обвинение и отправит в суд к чертовой матери. А потерпевший-то кто! Хромоногая сволочь! Выродок! Его и на Кавказе-то за человека не считали. А уж теперь и на зоне.

Но Карен действовал не то, что по правилам, а даже с выдумкой. Он провел нам очную ставку в камере допроса Бутырской крепости, изоляторе номер два, как она тогда числилась, а когда обе стороны настаивали на своем (один говорил «бил», а другой – «пальцем не тронул»), то сделал вид, что должен выйти и позвонить куда-то. Он доверчиво распахнул глаза и внятно так, по-дружески, сказал мне: «Ты посиди здесь с ним, посмотри за бумагами. Я их не буду собирать пока. Мне ненадолго выйти, позвонить надо. А потом вернусь и подпишем протокол». Еще кивнул доверительно. Мол, всё и так ясно, дело этого хромоногого швах, а ты всё-таки свой, пригляди за бумагами и за портфельчиком, что на полу стоит.

Он вышел, а кавказец давай меня поливать: и козел я, и петух, и пидор, и бог знает кто еще! Нервы трепал, урки умеют слово сказать, на то они и урки. Мне бы, как он надеялся,

перегнуться через стол и впаять ему так же – по морде. Было за что теперь уж дважды! Но я скопил глаз на портфельчик, «забытый» моим закадычным дружкой, моим следователем, обаятельным красавцем с томными доверчивыми глазами Кареном Арагоновым, и подумал, что там диктофон, и что он в сговоре с этим хромоногим гадом, и кто-то из друзей того гада на воле нашел Карена заранее и попросил проделать всё это. Они мести хотят, они хотят подольше задержать в Москве хромоного, чтобы всё забылось и его не прирезали бы в другой уже зоне. А я – средство для достижения цели. Всё это пронеслось в моей голове, и я, покраснев, потом побледнев от страха и ненависти, молчал. А хромоногий уже аж пеной брызгал, глазами сверкал, сам был готов с кулаками на меня кинуться.

Карен вернулся в самый острый момент – хромоногий уже привстал и потянул ко мне худую клешню, а я отклонился назад и изготавился к встречному удару, сжал кулак правой руки. Надо заметить, несмотря на деликатность фигуры, рука у меня умелая, бить умею точно и эффектно. Меня этому когда-то в секции по киокушинкай учили. Хорошо учили, я доски ломал и кирпичи. Очень это любил, потому что я так утверждался. Рост ни к чему, особенная какая-то сила тоже, главное – умение и ловкость.

Вот бы я этому хромоногому теперь челюсть свернул, раскрошил бы до полной несобираемости! Одним движением – кулак вперед, в подбородок, жестко, молниеносно, с раскруткой в последнее мгновение на полсантиметра влево и тут же назад на себя, рывком. Но вернулся Карен, мой закадычный друг и хитрющий следак, и акция крушения моей жизни посредством крушения чужой челюсти не состоялась.

Карен кинул отчаянный взгляд на кавказца, тот тяжело вздохнул, резко сдулся и отрицательно покачал головой. Карен тоже сдулся и уже мрачно закончил очную ставку нашими подписями. Мы разошлись, больше не сказав друг другу ни слова. Я потом, через недельки две (дело по заявлению потерпевшего налетчика Арагонов, конечно, прекратил за «отсутствием события преступления» – это процессуальный термин такой, а вообще-то, по-человечески – доказать мою вину не сумел) спросил у Арагонова:

«Сознайся, ведь у тебя в портфеле диктофон был! Ты меня «опускал» там перед уркой, разрабатывал, как лоха! Зачем тебе это было?»

Он краснел, бил себя в грудь и говорил, что это моё больное воображение. А потом спросил с унижительной мольбой в томных своих глазах:

«Ну, скажи, брат, ведь дал ты тому ублюдку тогда по морде и коленом по ребрам? Это я так, для себя хочу знать. Дело-то прекращено, закрыто. Понимаешь, я бы ему сам дал...»

Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. И подумал, что если бы он меня теперь спросил, какой цвет светлее – белый или черный, я и тут бы промолчал. Кто его знает, зачем это ему? Он удачливый, у него никогда ничего не срывается. Даже с женщинами! А вот со мной сорвалось, похоже!

Но я не стал меньше любить его за это. Уважать перестал, а любил по-прежнему дружеской, здоровой любовью – как собутельника, как хранителя и моих интимных секретиков, многие из которых делились с ним пополам, как «хорошего» в общем-то парня. Вот так я к нему теперь относился. И ценил, конечно же! Следак он был классный! Хитрый и умный! Только зачем ему тогда нужно было меня подставлять? Долг превыше всего? Или долги? Они у него водились. А так он очень даже ничего, с ним не скучно!

С этими мыслями я и зашел в комнату, где на кокетливом пуфике сидел Арагонов с папкой на коленях, на персидском, дорогом ковре перед ним лежал, раскинув руки, лицом вниз покойный «гений пера» с раздробленным черепом, практически к носкам безукоризненной модной обуви Карена стекали гениальные и теперь уже бессильные писательские мозги, а над телом склонился старый бородатый судебный медик в белом халате с закатанными рукавами и диктовал: труп лежит в такой-то позе и голова у него повернута туда-то, а ноги согнуты в коленях таким-то образом. Я застал эту печальную и в то же время весьма будничную группу

за тем, что медик собирался спустить с убитого штаны и осмотреть все, что есть под ними, определить с помощью термометра, направленного в естественную щель, остаточную температуру и таким образом хотя бы приблизительно предположить время наступления смерти. Это делается путем вычитания времени и естественного периода остывания тела в постоянной температурной зоне комнаты. Противным делом занимались эти люди. И мне тоже предстояло противное дело: копаться во всем этом почти вместе с ними, губить свою бессмертную душу.

Арагонов поднял на меня глаза и, как будто извиняясь, легонько улыбнулся, закивал. Помнит, мерзавец, про тот диктофон, хоть и не сознается! Ну, пусть помнит, пусть это его гложет до гробовой доски! А я буду с ним добросердечен, это еще больше ранит. Добросердечие тоже бывает злым и расчетливым.

Я посмотрел на маленький индейский топорик, на томагавк с яркой бахромой из кусков кожи и цветных ниток и ручкой, испачканной черным графитным порошком. Томагавк лежал на ковре рядом с головой покойного, но, судя по графитным следам, эксперт уже пытался снять с его ручки следы пальцев убийцы.

Карен перехватил мой взгляд и сказал предупредительно: «Нет там ни черта! Всё начисто стерто... эксперт уже смотрел».

Я кивнул и подумал, что, если это Олег Павлер на беду Игоря Волея сей топор войны выкопал, то из всех известных мне поводов для преступления два отпадают сразу: неосторожность и заблуждения. Остаются меркантильность и отчаяние. Отчаяние, кстати, тоже на волоске висит. Значит, проверяя версию «убийца тот, кто труп и нашел», следует искать меркантильную выгоду Павлера.

Или ревность? Ничего себе ревность! Хлоп любимого писателя томагавком по лысине, следы с ручки стираешь, на цыпочках к двери, выжидаешь немного, а потом возвращаешься, брызгаешь слезами и зовешь уголовный розыск.

Ревность – это крик израненной души, ее истерика, мания. Тут не до следов, не до расчетов! Особенно у таких, как эти... когда ревность однополая. Тут особая психология. Мне не раз приходилось вести подобные дела, то есть как оперативнику, конечно, не как следователю. Я ведь не следователь, я – опер, сыщик. А тут не до закона, тут всё из жизни, всё или почти всё с точки зрения обычного человека необъяснимо. Я знаю такие дела! Этот ударил бы, завизжал, завыл, обцеловал бы в отчаянии труп от того, что натворил, измазался бы кровью до бровей и бегом вниз по лестнице. Хорошо если не прыгнул бы под электричку в метро! Не до «пальцев» на ручке томагавка. Бывают, конечно, исключения, но по первому взгляду на Павлера, он к ним не относится. Слишком тихо переживает, рук не заламывает, а достойно так, печально роняет слезу. Почти мужскую, прости Господи! Каждому ведь свое! Коль Он позволил, значит можно...

Спрашиваю попавшегося под руку еще одного местного сыщика: «Взяли ли чего?» Тот пожимает плечами, растерянно оглядывается и отвечает, что вроде бы всё на месте... кроме топорика. Тот на стене висел, у кокошника с перьями.

«Это ему в Перу подарили, с книжкой своей выезжал в прошлом году. Об индейцах чего-то писал, муру какую-то...» – авторитетно заявляет сыщик. Я смотрю на него, на высокого, стройного, глуповатого и самоуверенного парня.

«А что, ты читал?» – спрашиваю строго.

«Никак нет, – краснеет он, – А что?»

«Прочитать всей вашей умной конторой! – злюсь я, – И доложить справкой в Главк! Мне лично. Ясно?»

«Ясно, товарищ подполковник, – сыщик знает мое звание, значит, уважают тут, «на земле», судачат обо мне иногда. – Только зачем?»

«А затем, чтобы знали: о мертвых или хорошо или ничего!» – бросаю я хмуро.

Я не прав, потому что о мертвых «хорошо или ничего» – это не для нас. О веревке в доме повешенного говорят сыщик и репортер. Это – нормально. Это – профессионально. И о мертвых говорят то, что они заслужили при жизни и после нее. И это нормально для этих двух схожих в общем-то профессий.

Желая исправить неловкость, спрашиваю:

«По квартирам уже ходили? Соседи чего говорят?»

«Нет соседей! – отвечает сыщик и разводит своими длиннющими руками. – Состоятельные в этих местах люди живут. Почти на все на дачах. Суббота, лето... Вчера пятница была...»

«А позавчера четверг, а раньше еще среда... – ухмыляюсь я. – Я смотрю, у вас тут народ наблюдательный. Логике не чуждый. А завтра что будет?»

«Воскресенье, – виновато отвечает сыщик и опускает свою глуповатую голову. – Кажется...»

Не так уж и глуп – думаю я. «Кажется» – это хорошо. Умыл подполковника слегка. Ну и пусть! Нельзя лишать человека малых радостей. А сколько их у этого парня? Через день на ремень? И всякий норовит окатить зловонием. Я – не исключение, как видно.

А попробуй-ка проживи на его деньги, на официальное денежное содержание то есть! Три недельки в месяц еще как-нибудь скромненько протянешь, а потом? И таких «потом» за год двенадцать набегает, безденежных. А это – 84 дня за год. Говорят, рекорд жизни без пищи – 50 дней. Так что, если рассуждать дальше по этой же печальной схеме, то получится, что не доживет этот сыщик до конца года 14 дней, то есть две недели. Значит, его год, судя по государственной заботе о нем и подобных ему, не 365 дней, как должно быть по календарю, а 351, и не пятьдесят две недели, а пятьдесят. Мистика цифр!

Берет он взятки? Входит в «сговор с преступным миром», для которого такой математики не существует? Может быть, и берет. Может быть и входит. Развелся, наверное, с женой. Ребенка не видит. Кому такое чудо в перьях нужно? Пьет себе потихоньку, аферы разные обдумывает. А тут я, начальник с зарплаткой чуть больше его, позволяю себе всякую шутку, циничную и презрительную. А потом он как обдумывает всё до конца, плюнет на бывшие романтические иллюзии, которые его когда-то сюда привели, и поведет другой уже счет. По примеру сильных мира сего, что распоряжаются им и... такими, как он.

И вот он теперь на дорогом джипе рассекает, квартиру у какого-то пьяницы на обслуживаемой территории отнял, денежки в конверте или даже в скромненьких акциях получает тайком, учредителем какой-то хитрой стяжательной конторки стал, в Турцию и Египет с девками отдыхать летает недельки на две в году. Как раз на те роковые 14 дней, которые он должен был бы не дожить, если бы всего этого не сделал, и голодал бы пятьдесят дней из восьмидесяти четырех высочайше запланированных. Опять магия цифр!

Я вот только никак не изменюсь. Ну, почему меня моя Майка терпит? И дочь? Наверное, просто глуп и старомоден. И труслив. Боюсь, за руку схватят. А еще боюсь, более этого, что плевать на себя в отражение стану. И никто ведь не поверит, что стану и что стыдно. Романтикам не верят, как и дуракам. Но об этом сейчас не время. Труп тут валяется с размозженной черепушкой, и топор войны лежит. Кто его поднял?

Я разворачиваюсь и выхожу на лестницу. Тот первый сыщик, что бурчал о Павлере, все еще здесь. Он сразу понимает причину моего возвращения, грубо хватает Олега под руку и толкает его к двери соседней квартиры.

«Тут домработница пришла убираться только что, – говорит сыщик, – можно у них потолковать».

Олег возмущенно пытается вырваться из цепких милицейских рук, но он не первый, кому это не удастся. Многим это всю жизнь сделать не под силу. Мне, кстати, тоже! Уволился бы давно к чертовой матери, да вцепились они в меня своими клешнями... Или я в них?

Молодой театральный режиссер Олег Павлер несомненно талантлив. Его постановки идут в трех московских театрах, правда, на малых сценах, но от этого они еще более востребованы: билеты распроданы за два, а то и за три месяца вперед. У него там мало реквизита – табуретки какие-то, стульчик, столик, досочки на канатах подвешенные, газовые шали трепещут на ветру, все двигается, поднимается, опускается, крутится, и актеры переодеваются быстро, эффектно, совмещают по несколько ролей за спектакль, преображаясь вместе с легким переодеванием. Грима почти никакого, зато музыки много и много действия, и мыслям просторно. Как у классика. «Правилу следуй упорно: /Чтобы словам было тесно,/ Мыслям – просторно»

У меня так должно быть в жизни, в моей профессии, но чаще получается с точностью до наоборот. А в пьесе, как у Шиллера, по утверждению Некрасова, всё именно так и обстоит. И у молодого Павлера в постановках тоже так.

Я, правда, такое не очень люблю, потому что я «отстойный» зритель, как принято нынче выражаться, то есть – типичный традиционалист, как выражались раньше. Возможно, в некрасовские времена... А Майка моя обожает!

«Павлер – это сила! – говорит Майка со знанием дела, она все же литературный редактор в одном толстенном журнале, критикой балуется. – Павлер, талант! Не гений, конечно, но несомненный талант. У него мыслям просторно, и слов лишних нет. Одни действия, одни эмоции. А эмоции – это тоже действия, только окрашенные в свои цвета, иногда даже совершенно неопределяемые словами».

Это я ее слова повторил... то есть Некрасова, разумеется, но так же и ее, моей Майки, когда о Павлере думал – он шел под руку с милиционером в штатском, стреноженный уже, успокоенный, как лошадка, и понуро кивал головой в такт каждому шагу. Словам тут тесно, а мыслям просторно. До оторопи иной раз...

«Отпустите его, – сказал я сыщику. – Идите лучше с соседями поработайте».

«Чего с ними работать! – нехотя убрал руку от локтя Павлера милиционер в штатском. – Дачники все... почти».

Он тут же растворился где-то на лестнице, в гулком ее сумраке, будто в песок рассыпался, а Павлер обернулся и благодарно посмотрел на меня. Я свел пострее брови, чтобы не давать ему даже шанса вывернуться. Павлер понял это. Тонкая все же личность! Он обиженно надул губы и стрельнул в меня уже острым, как перышко, глазом. Не больно, но ощутимо. И еще у него блеснули слезинки.

«Но, но! – сказал я уже мягче. – Не нужно тут слякоть разводять... Жизнь продолжается. В ту квартиру идите, дверь, видите, открыта?»

Домработница из соседней с покойником квартиры будто ждала нас. Очень уж ей было любопытно, что стряслось у именитого соседа. Ее-то хозяйева, вроде бы, прибыли из Донецка, поворовали на поверхности что-то, не опускаясь под землю, в шахты, где украсть ни черта нельзя, и теперь строят из себя московских баров. Даром что, в Кривоколенном роскошную квартиру купили! Купили-то, конечно, не даром, но для них это, похоже, далеко не последние деньги. У них и обе машины почти в цену квартиры каждая! Водку пьют, песни орут, отчаянно и громко удивляясь тому «чому они ни соколы, чому ни литают» (им еще только летать не доставало, чертям!) и требуют от домработницы такой чистоты, какой и в операционной не бывает. Хозяин белым платочком по ступенькам в квартире проведет (там есть ступеньки из прихожей в ванную комнату, старинная все же планировочка), испачкает и смотрит осуждающе. Он бывший прапорщик, его солдаты что-то там в Донецке для шахтеров копали или намывали, себе ничего не намыли, зато ему вон сколько – квартира, машины, дача. Генерал, а не прапорщик прямо! Да сейчас и генералы-то все, как прапорщики! Их бы самих намывать, промыть...

Мне кажется, я всё это прочел в глазах у опрятной барышни средних лет с любопытными зрачками и большой, горячей грудью. Иначе откуда мне знать про донецкого прапорщика? Или

я это уже не раз видел в современной Москве? В каждом доме, особенно, в старом, облапанном центре.

Вообще, я на московский центр смотрю по-особому. Наверное, потому что я коренной москвич, в третьем, или даже в четвертом поколении, и всю свою жизнь в том центре прожил. Так вот мне наш центр кажется несчастной старой девой, которая грезилась в юности о любви, а столкнулась в конце концов лишь с ее самой отвратительной стороной: была неоднократно изнасилована шайками заезжих наглых мужланов. И продолжает горько и отчаянно страдать. О любви лишь в одиночестве, по ночам, мечтает. А ее насилюют и насилюют. Вот как мне кажется...

Павлер бросил взгляд на домработницу и приниженно, стесняясь своего положения, поздоровался. Она надменно кивнула. Ей неизвестен был этот человек – его не бывает на сцене, на экране. Без него, конечно же, можно обойтись! Без актера нельзя, без известного писателя тоже. А без режиссера, особенно театрального, запросто!

Мне стало обидно за Павлера, и я как можно строже посмотрел в лицо домработнице.

«Как звать?» – спросил я с намеренно жандармскими нотками в голосе.

«Надей» – покраснела полногрудая барышня и одернула зачем-то передник.

«Так вот, Надя! – сказал я еще строже. – Идите в прихожую, к двери, и никого не пускайте без моего разрешения. А мы тут разместимся, допустим... в гостиной, и поговорим... с известным и талантливым режиссером. Вы знаете, кто это?»

Последнее я сказал наставительно, даже поднял кверху указательный палец. Я всегда так делаю, когда хочу привлечь к своим словам особое внимание. Это что-то вроде ленинского «нота бене» на полях.

Надя растеряно и даже как будто виновато пожала плечами – мол, не знает, кто это удостоил квартиру ее донецкого прапорщика своим посещением.

«То-то! – победно воскликнул я. – К двери! На пост! Грудь вперед, остальное назад, в меру приличия, конечно!»

Надя весело рассмеялась и, кокетничая, виляя бедрами, заскользила к двери, а мы, я, усмехаясь, а Павлер, тяжело вздыхая, вошли в широкую гостиную. Створки двери неслышно распахнулись, на нас всей тяжестью навалилось чужое, самоуверенное богатство. В нем был свой вкус – то есть, полнейшее его отсутствие. Нет, это, конечно же, не вкус, но это – стиль! Майка утверждает, что это наше печальное будущее. Так уже было – ушел один стиль, воспетый классиками, пришел – другой. Вместе с другими классиками. Успокаивает лишь то, что и этот уйдет... и тоже вместе с классиками.

Мы отодвинули от резного дорожущего обеденного стола резные же дорожущие стулья и, поскрипывая их кожаной обивкой, по-хозяйски расселись.

«У вас в спектаклях, на сцене, скромнее, господин Павлер», – сказал я.

«У нас денег мало, господин следователь!» – ответил постановщик.

«Не прибедняйтесь! Гонорары, небось, рвете страшные, публику обираете. Моя жена платит за билет и плачет. А я-то как плачу! Она ведь мои деньги платит, потому что своих ей нипочем не хватит. Впрочем, и моих не всегда хватает. Так что, мы в складчину... Да и к тому же я не следователь вовсе. Я – оперативник. Сыщик, иными словами».

«Извините, не хотел вас обидеть...» – съязвил Павлер и блеснул на меня глазами.

Ага, подумал я, этот даст томагавком по голове – только держись. Вот так ему Волей что-нибудь неосторожно сказал, а он хватать со стены топор и хрясь Волея по черепушке! А потом режиссер-постановщик ручку обтер на топорике и дальше по сценарию...

Чушь какая-то! Ну, зачем ему топориком? Это разве каждый может? Выстрелить – почти каждый, а ножом или топориком только особо талантливые... в этой области. Или обученные, как с одним типом в Мексике было. Ледорубом – по умной, циничной и талантливой голове.

И жестокой... потому что сам к топору звал... от топора и погиб. Кто к нам с мечом придет, тот от меча... И так далее. Но это уже о другом, о вечном.

«Садитесь, – говорю я вежливо, – сейчас обстоятельно разговаривать будем. И очень, знаете ли, пристрастно...»

«Я сяду... – краснеет от страха Павлер. – Но почему же пристрастно?»

«А потому, что Волей вам был дорог, как друг, а моей жене – как писатель. Я читал только две его книжки. Впечатлило... Но это не моё... чужое это мне».

«А что ваше?» – искренне, судя по раздраженному тону, обиделся за покойного друга постановщик.

«А моё вот, – я широко развел руками, – чужая жизнь, чужая смерть, чужие мерзости, чужие несчастья. Мои пьесы, коллега, разворачиваются на этой сцене, и свет ramпы в том моем спектакле – свет луны и солнца, а не стоваттовых ламп».

«Спрашивайте», – решительно сглотнул слюну Павлер и побледнел еще больше.

«Извините за вопрос, я не любопытства ради, – сказал я серьезно, хотя и явно чуть ёрничая, – вы его любили?»

Павлер вспыхнул, вскочил со стула, но тут же плюхнулся обратно и гордо задрал нос.

«Вообще-то это дело сугубо личное, – сказал он с хрипотцой в голосе. – Но, принимая во внимание сии печальные обстоятельства (он вдруг жалобно всхлипнул и быстро опустил глаза, из которых капнули две полновесные слезы), я любил его... Всею душой! Полностью, без остатка, с благодарностью за всё!.. Как друга, как брата, как отца... если хотите, и как, как...»

«Дальше не стоит, – прервал я, – дальше действительно только ваше».

Я постучал пальцами по столу, поскреб ногтем и еще раз постучал.

«Послушайте, – спросил я уже тише. – Как вы думаете, кто его убил?»

Павлер отчаянно пожал плечами и теперь, не скрываясь, зарыдал в голос. Из прихожей заглянуло удивленное лицо Нади, но я махнул ей рукой, чтобы убиралась. Нечего смотреть на человеческую слабость с таким дурацким выражением любознательности!

«Мертелов тут?» – услышал я повелительное и грозное от входной двери, скрытой от моих глаз в самом конце чужой, богатой прихожей.

Надя испуганно оглянулась и пискнула:

«Какой Мертелов? Тут квартира...»

Я поднялся и неторопливо вышел в прихожую. Голос мне был хорошо знаком. Это – сам Андрюша Бобовский, мой одноклассник, глава и владелец скандальной телекомпании «Твой эфир».

«Я – Мертелов!» – улыбаюсь чуть заметно, подыгрываю Андрюхе.

Мы всегда с ним играем во что-то. В сыщиков играли в детстве, он прекратил, а я всё никак. С первого до последнего класса, в Старопименовском переулке. Школа там наша, и жили рядышком. Три друга, три законченных балбеса, как нас любовно называла наша классная дама Азалия Кононовна Павловская, молодая, хорошенькая училка английского, несмотря на имя-отчество из русского уютного прошлого... Так вот три друга – три законченных балбеса – Андрей Бобовский, Дмитрий Пустой и я – Максим Мертелов. Впереди всех – Димка Пустой. Талантище – ужас! Организовал в школе «театр творческой инициативы», ТТИ, все главные роли себе, он же режиссер, он же драматург, он же диктатор. Сволочь, словом, редкая! Обаятельная и чудесная сволочь! Девки по его кудрям, голубым глазам, рослой фигуре, узким бедрам и широкой груди страдали всем своим нежным коллективом. Мне казалось, что и Азалия Кононовна, по прозвищу Азочка к Димке Пустому была неравнодушна. Краснела, глядя на него. Это давало пищу нашим извращенческим эротическим фантазиям.

«А ты бы ее мог?» – дышал возбужденно Андрюха Бобовский.

«Мог! – решительно отвечал Пустой. – Я бы всех мог, да боюсь растратиться. Талант надо пестовать, балбесы, беречь его надо, а не пихать везде, куда ни попадя!»

Да мы бы все могли! Возраст такой был. И даже не стыдно.

Я тоже играл в спектаклях Димки Пустого. Мне доставались героические роли – рыцаря, моряка, командарма, один раз какого-то хитрого, обаятельного предателя, а один раз – мужеподобной горничной. Она тоже была личностью героической, потому что убила своего хозяина-мироеда за то, что тот ее обрюхатил и бросил. У Димки все пьесы были историческими – ни одной о современности, везде графы, князья, пираты, горничные, рыцари и даже короли. Здорово у него это получалось.

Бобовскому роли не доставались, потому что, по мнению Пустого, он был до такой степени бесталанен, как актер, что одно лишь это способно составить особый, неподражаемый талант.

«Ты тупой, как тюремная табуретка, Бобовский! – с восхищением говорил Димка Полевой, глядя на попытки Андрюхи Бобовского сыграть хоть что-нибудь на сцене в актовом зале во время отбора актеров из школьников – Ты такой тупой, что это надо внести в Большую советскую энциклопедию и дать тебе Большую Государственную премию. И еще народного артиста закулисья».

Бобовский печально опускал голову, а Пустой восклицал, будто только что сделал гениальное открытие: «Ты будешь торговать всеми нами! Продавать билеты, выбивать деньги на пьески, воровать оттуда нещадно, вести разные переговоры с толстосумами и всё такое! Тут нужна необыкновенная душевная тупость. И еще ты будешь увольнять плохих работников, гнать их в три шеи! Тут без тупости вообще не обойтись!»

Если бы мы не знали близко Димку Пустого, Бобовский обиделся бы и, может быть, даже дал ему в морду, потому что дрался он всегда здорово – хладнокровно и спокойно. У него отец был борцом когда-то, потом тренером. Это они оба, Бобовские, таскали меня по всяким мордобойным секциям.

Но Дима не кривил душой, и, возможно, он и открыл в нашем друге талант, который сопровождал того всю оставшуюся жизни и приносил славу и деньги куда большие, чем Димке его актерские и драматургические дарования. Тогда мы не знали, что есть такая профессия – продюсер, что это особенная форма диктаторской собственности над всем творческим и, казалось бы, самодостаточным. Вот в тот огород ненароком и запустили этого козла Андрюху Бобовского.

Он сразу стал торговать билетами, заказывать афиши, взимать плату с актеров-школьников за кастинг, то есть за их отбор на роли, приторговывать отработанным реквизитом и приворовывать новый. Он набивал себе руку на малом, чтобы потом освоить большое.

Мы были первой школой в Москве, а, может быть, и в стране, где ученические спектакли стали платными. Мы не пускали в наш дружный и жадный коллектив профессиональных наставников, которых пытались привести некоторые наши наивные учителя, мы не давали никому и слова молвить не в нашу пользу, а всяких там критиков лупили смертным боем. Для этого Бобовский нанимал костоломов из папиной секции по вольной борьбе. И сам в этом с успехом участвовал.

Словом, творчество развивалось в унисон со временем. Советская власть постепенно скатывалась к своему смертному одру, а мы уже были готовы к новым веяниям, к новой стране, к новым профессиям. Это только наивные наши соотечественники думали, что власть эта вечна, как Римская империя, которая тоже оказалась, в конечном счете, смертной. А мы уже изда- лека понимали, что больной скорее мертв, чем жив. Только катится по инерции, а так в нем кровушки ни капельки уже!

Я видел однажды старика-паралитика, который к ужасу своих взрослых детей семнадцать лет провалился в постели. Они сами чуть не передохли все, а он всё гадил и гадил под себя и жрал в три горла. Его смерть стала праздником для них! Такие поминки закатали!

Вот и власть наша советская была как тот паралитик. Но все-то знали, что рано или поздно быть большим поминкам! Мы тогда с Пустым и с Бобовским это интуитивно чувствовали и жили так, как будто всё уже почти случилось.

...Генеральный директор и он же владелец телекомпании «Ваш эфир» Андрей Валентинович Бобовский стоял в «прапорщицкой» прихожей и зычно звал меня, скромного подполковника Максима Мертелова.

«Ты чего тут командуешь?» – как можно строже спросил я.

«Но-но! – деланно возмутился Бобовский. – Кто велел орать на общественность?»

Он широко заулыбался и раскинул в стороны мускулистые огромные лапы, будто желая поймать меня в дружеский капкан.

«Здорово, Мертел! – меня так всё детство звали; я так привык, что страшно удивлялся, когда фамилию договаривали до конца. – Ты чего моих корреспондентов до тела не допускаешь? От общества что-то эдакое скрываете, морды вы чиновничьи!»

«Ничего мы не скрываем, Бобовский! Самим ни черта не известно. Ты-то чего тут образовался?» – спросил я раздраженно.

«А то образовался, друг-приятель, – ответил Бобовский совершенно серьезно, – что мои первые сюда прилетели, а ты нам кайф ломаешь. Сейчас сюда явятся акулы из государственных компаний, тебе строго звякнут сверху, и ты нас вытолкаешь в шею. Обрати внимание, друзей детства!»

Я подошел к нему, пожал его протянутую крепкую ладонь. Из комнаты выглянула возмущенная до крайности физиономия Павлера. Слезы просохли, глаза теперь блестели одним лишь негодованием.

«О! – нагло воскликнул Андрей. – Какие люди в Голливуде! Лично Олег Владимирович Павлер, подающий планетарные надежды молодой и талантливый режиссер! А вы-то здесь чего? Пьеску репетируете?»

Павлер задохнулся от нахлынувшего возмущения и громко хлопнул створками дверей. Надя вздрогнула, панически прислушиваясь к тому, не осыпалось ли дорогое прапорщицкое стекло на дверях. Но стекло лишь задребезжало жалобно и успокоилось.

«Ладно, – сказал я лишь бы выставить наглеца Андрюху Бобовского, – вали отсюда! Пусть твои шелкоперы-борзописцы поднимаются. Так и быть, попрошу Арагонова сказать им пару веских слов».

«Ого! Каренчик тут? Значит, дело крутое, – хлопнул в ладоши Бобовский. – А мои не борзописцы и не шелкоперы, Мертел! Мои вообще писать не умеют. У них с этим делом туго, потому и в телевизор пошли. Мои – болтуны и попугаи. А вот с Арагоновым это удача! Он чего, дежурит по городу от прокуратуры или как-то иначе здесь нарисовался?»

«Это нам неведомо. Сидит там, мозги соскребает с персидского ковра, – сказал я тихо, оглядываясь на двери, за которыми, судя по теням, метался Павлер, – ты иди, иди, циник! А то сейчас скандал будет».

Бобовский заухмылялся и хитро покосился на мечущуюся тень:

«Любовь-морковь? И всё такое? Мы его тоже подловим, это ты как хочешь! Или понесем всё его творчество по кочкам! Там жалоб, знаешь, сколько! Диктатор, неуживчивый, деньги пропадают, ссорит ими на разные глупости... Спектакли, видишь ли, в детских домах, в приютах, в Сибири дает! Выездное искусство, в варварские массы, понимаешь! А деньги чьи? Наивных спонсоров? Глупых дядечек и тетечек, которые и знать не знают, куда их кровные деваются! И потом... чего это Павлеру так детки дороги, а? Мысль, да!»

«Ты что, Бобовский! – всерьез возмутился я. – Я и не знал, что Павлер таким благородным делом занят. Молодец! В Сибири, говоришь, приюты? А кто же к ним поедет и, главное, на что, если не на денежки разных дядечек и тетечек, у которых этих денежек даже куры уже не клюют! Умница Павлер! Ты у меня только посмей его тронуть!»

«А то что? – беспечно пожал плечами Бобовский. – Маме пожалуешься?»

Он вышел, осторожно прикрыв за собой входную дверь. За ней я уже слышал гомон его съемочной группы. Действо продолжалось, сенсация трепетала на эфирном ветру всеми своими золотыми перышками, рос рейтинг... есть такое слово, ужасно ненашенское, дико чужое... до некоторых пор. Рейтинг – это деньги, рейтинг – это власть, а власть – это опять-таки деньги. Маркс бы написал теперь: «рейтинг – деньги – рейтинг». Потому что рейтинг – это товар. А товар должен быть продан. Вместе с нами, оптом и в розницу.

Я вернулся в гостиную и застал там Павлера, в отчаянии стоявшего у окна. Он смотрел за шторы, и, по-моему, ничего не видел. Павлер, не поворачиваясь ко мне, твердо вымолвил:

«Его не должны были убивать. У него не было врагов. Он был очень неконфликтным и очень талантливым. Он мне гонорары свои отдавал, почти полностью, на гастроли... мы в Сибирь, на Урал ездили, детские спектакли вывозили... там сирот полно... знаете, как они радуются! – Он помолчал немного и добавил: – А всякая нечисть, сволочь всякая... сплетни распускала, что мы с ним... как будто даже педофилы... Что, вроде бы, для этого... для мерзости... по детским домам шастаем с моими постановками...»

Павлер резко обернулся ко мне и прямо, сухо, посмотрел в глаза:

«Слыхали об этом?»

Я отрицательно покачал головой.

«Услышите еще. Ведь это же версия! Ведь версия же?» – его слова отдавали испугом и в то же время надеждой, что я оттолкну их, как грязный абсурд.

Но я к ужасу своему подумал, что, разумеется, это тоже версия. Немного путанная, неясная, но все же версия. И ее тоже надо будет проверять.

Я махнул рукой и попытался как можно мягче улыбнуться, но ничего из этого не вышло. И Павлер понял, вздохнул тяжело и, качая головой, посмотрел в пол.

Я кивнул и зло оглянулся на дверь, за которой только что всё это сказал мне Бобовский.

«Идите, Олег, – сказал я негромко. – побыстрее только, а то эти вас прижмут всеми своими объективами, душу вынут».

Павлер кивнул и мрачно прошел мимо меня к выходу из чужой гостиной. Пройдя мимо, он остановился и произнес ясно и уверенно:

«Игорь звонил мне вчера поздно вечером. Предлагал подъехать и послушать какого-то человека... тот что-то предлагал сделать с его двумя романами... сценарии... их во Франции, вроде бы, ждут и хотят даже платить. Я не мог приехать, голова дико болела. Раскалывалась прямо! Накануне напился с сокурсниками, как последняя свинья! Вот она цена эгоизма! Я ему нагрубил тогда, а сегодня приехал покаяться... Опоздал... опоздал!»

Я вздрогнул, почувствовал, запахло чем-то «съедобным». Мягко взял его за кисть руки:

«Кто это был? Что за человек? Вы хотя бы спросили Волея тогда по телефону?»

Павлер медленно отрицательно покачал головой и поплелся вон из гостиной. Потом вдруг остановился, порылся в карманах и достал оттуда маленький блокнотик и воткнутую в его переплет шариковую ручку. Он склонился над столом, быстро записал что-то, оторвал листок и протянул мне:

«Здесь мой телефон... если хотите... позвоните. Может быть, я смогу помочь... Я должен... мы должны найти... У него был кто-то дома... был и убил».

Павлер, шаркая ногами, растворился в темени прихожей.

Был гость! У Волея был гость, которого он толком не знал, иначе бы не предложил своему приятелю придти и вместе с ним послушать его. Нужно перевернуть всю квартиру вверх дном и найти хоть какую-нибудь свежую запись!

Я сунул записку Павлера в нагрудный карман и быстро прошел по прихожей вслед за ним, остановился около Нади, все еще стоявшей у двери, с благодарностью хлопнул ее ладошкой по круглому заду, потом той же ладонью поджал высокую ее грудь. Она глубоко вздохнула, томно

закатила глаза и откинула назад голову. Я издевательски прищелкнул языком и быстро рванул на себя входную дверь.

«Дурак!» – услышал я вслед, потом смешок.

Действительно дурак, подумал я. Мог бы и задержаться минут на пятнадцать, обследовать с Надюшей прапорщицкую спальню. Но некогда! Просмотрят что-нибудь в квартире убитого, а там должно быть что-то, должно быть непременно!

Я нашел это «что-то». Оно тихо лежало на подоконнике: неприметный листочек бумажки, а на нем написано от руки, карандашом – «Сценарий, Франция, месье Боливье, продюсер». На другой стороне тем же почерком, определенно Волея, дописано: «Германн, представитель, вечером, в десять, позвонить Олежке, срочно». «Германн» – со сдвоенным «н». Это ошибка? Или так и следует писать? Почему вообще всё это написано на другой стороне? Потому что на этой не хватило места или потому что задумчиво и с опасением вертел бумажку в руках? Почему она осталась на подоконнике? Потому что ждал и смотрел вниз. Хорошее, наверное, было предложение, если у окошка даже ждал. Только кончилось плохо...

История одной карьеры

Карьера – происходит от латинского *carrus*, что означает «телега повозка». Потом это слово, как настоящая повозка, перекочевало в другие языки: болгарский – «*карица*», что и значит «телега» и теперь, в век машинного прогресса, имеет порой негативный оттенок, мол, развалюха; французский – *carriere*, от позднелатинского – *quarraria* или *qudraria*, означая – «карьер», «каменоломня» или добыча руд открытым способом; в том же французском это слово означает карьеру, то есть ход, поприще жизни, службы и успехов достижения чего-либо; в итальянском это слово теперь пишется так же, но значит еще и другое, кроме того, что во французском – быстрый бег лошади, то есть скачка во весь опор, во весь дух.

В русских дореволюционных словарях слово «карьера», кроме всего прочего объясняется очень искренне: «удачное прохождение службы, быстрое и какъ бы въ перегонки съ другими» и производное от него – «карьеристъ», то есть «дорожащий служебной карьерой». Вот ведь и стишки Некрасова приводятся («Современники. Герои времени»), забавные стишки:

«Честолюбье-ль васъ тревожить
Онъ карьерѣ дать толчокъ,
Даже выхлопотать можетъ
Португальскій орденюкъ!»

Вот и получается, что почти на всех языках это древнее, вполне безобидное, изначально латинское слово, менявшее свое написание даже в латинском языке, означало понятия, настойчиво роднящие его с первым смыслом (телега, воз) – бег, воз, добыча, каменоломня, ход жизни.

Есть ли такое другое слово, с которым так безоговорочно и так чистосердечно согласился бы весь мир? Каменоломня, скорый бег на перегонки с другими, поверхностная добыча, жизненный ход, служебный успех – всё это тяжелый воз.

Следователь прокуратуры Карен Вазгенович Арагонов этим латинским словом интересовался почти с рождения. Ему даже казалось, что он его выговорил первым из всех других слов.

Писемский в «Русских лгунах» отметил, в свою очередь:

«Кто не помнит того времени у нас, когда высокий рост, тонкая талия и твердый носок делали человеку карьеру?»

Это было бы о нем, живи он тогда, о Карене Арагонове – высок, строен, шаг твердый, уверенный, глаза темные и томные, руки ласковые и сильные, волосы густые, черные, лицо белое худое. И еще папа в Баку заметный прокурорский начальник (во времена, когда там жили бок о бок сотни народностей), дядя в министерстве юстиции в Ереване, а папин двоюродный брат в Москве в Верховном Суде большая и важная шишка. И еще кто-то в Тбилиси, не то в МВД, не то в КГБ.

Карьера не могла не состояться ни по Писемскому, ни по любому другому определению.

Следователь московской прокуратуры Карен Вазгенович Арагонов по прозвищу Любовник

Баку я люблю, но очень по-своему – со стороны, издалека. Так, чтобы другие говорили: он бакинец, у него там крепкий род. Это как тот старый анекдот о помидорах и кавказце: «кушать люблю, а так – нэт»!

Ну что мне теперь Баку! Всё на виду, всё предельно ясно, всё окончательно предсказано. Не судьба, а анкета!

Москва – другое дело! Тут своя загадка в отношении меня имелась: именитый кавказец, богат, красив, дико обаятелен, умен, блестяще образован (МГУ, юрфак всё-таки; когда посту-

пал официально аж семьдесят человек на место было, а неофициально, то есть среди богатых – сорок!), властный, при этом интеллигентный, утонченный, холост (иногда!), автомобиль свой, однокомнатная кооперативная хатёнка... Это сейчас на два последних пункта посмотрят с недоумением: тоже, мол, невидаль! А раньше, во времена советского «застоя», если прибавить к этому дачку за городом, то почти принц получается. Даже и не почти! А целый принц, сын короля, будущий король.

Сейчас планка общественного уважения прыгнула высоко вверх. Автомобиль не менее чем за сто тысяч евро, и не один – черный джип и яркий спортивный «кар» (тут цена вообще без ограничений!), квартира в центре Москвы не меньше ста двадцати квадратных метров на одного, роскошная вилла в ближайшем Подмосковье о двух этажах (а то и трех, с каминным залом и охотничьими трофеями) и с лужайкой за высокой крепостной стеной с видеонаблюдением. Бассейн почти олимпийского размера и тренажерный зал на пятьдесят квадратных метров обязательны, корт свой, банька, бильярд; гараж на несколько машин и крытая гостевая стоянка; прудик с беседкой; вилла во Франции, в Ницце или где-нибудь в горах, на границе со Швейцарией, скромная дачка в Финляндии (на зиму, на всякий случай!), миленькие две яхточки: одна в Подмосковье и одна на Адриатике; раз в год выезд на охоту в Африку в компании таких же лоботрясов (иначе откуда трофеи, рога там разные, копыта, головы, бивни), штук семь ружей, включая нарезные, с оптикой и подсветкой (каждое тысяч по 5 евро, не меньше), одно – непременно антикварное, и чтоб его какой-нибудь именитый нацист или, по крайней мере, член политбюро или еще лучше командарм, Берией расстрелянный, в руках держал когда-то; государственная должность где-нибудь вроде большой таможни или важной прокуратуры; на крайний случай – министерство юстиции или адвокатское бюро с тайными клиентами; доступность к солидным средствам массовой информации на уровне «личных контактов»; близкое знакомство с тупыми и хитрющими поповыми любимцами и с парочкой весомых циничных политиков, с известным депутатом-скандалистом и с двумя-тремя депутатскими помощниками – полу-уголовниками; дружба с парочкой чекистов-генералов и чрезвычайным послом, и чтоб они все рыбаками или охотниками были; именные приглашения на все балы и приемы у самого президента и премьера, можно и у мэра; личное участие в светской скандальной хронике – что-то вроде ночных гонок по Москве, любовных «коктейлей» с разными великосветскими кокетками; написание книжки-бестселлера в яркой наглай обложке о том, как и от кого, например, беременеют жены русских миллиардеров, со знанием дела и с намеком на личный опыт. Желательно и близкое знакомство с двумя, не меньше, такими миллиардерами. И чтоб уважали и трубку брали! В Куршавель зимой на лыжах, веселые спуски с гор. Акции нефтяных, газовых или можно «сотовых» компаний миллионов на десять зеленых, не меньше. Алюминиевые тоже ничего! Счета в трех наших основных и в некоторых импортных банках. С платиновыми кредитками. На крайний случай, с золотыми. И чтоб в портмоне наличности был всегда минимум – на сигареты и заправку автомобиля. А еще быть завсегда таем скучных клубов и ресторанов, в которых за ненашенский капустный лист, выдающий себя за салат для гурмана, платят цену, идентичную минимальной зарплате.

Вот и весь набор, кстати, довольно скромный по некоторым масштабам. Средненький такой! Чиновничий. Не высшего ранга, разумеется.

Потому что высшего ранга – охрана, как какой-нибудь чекистский Главк; яхта побольше, чтоб океанская, непотопляемая, с вертолетной площадкой и с маленькой подлодкой (может, и не одна даже яхточка!); парочка личных воздушных лайнеров; штук двенадцать автомобилей по типу «роллс-ройс», «бентли», «майбах» и чего-нибудь еще непроизносимого с первого раза. Акции какие-нибудь на полмиллиарда евро, не меньше; заводи свои, фабрики, салоны моды, весомая доля в банковском гиганте; средневековый дворец в Австрии, в Англии, в Германии, во Франции; островок свой вблизи итальянских берегов, можно и недалеко от Африки где-нибудь, или Новой Зеландии; роскошные квартиры во всех солидных столицах мира; тай-

ное американское или израильское гражданство, в качестве второго, конечно, можно и французское; свои гольф-поля от Петербурга до Стокгольма, или, по крайней мере – с членскими билетами на триста тысяч евро в год в каждом; стадион в Европе и в России, команда своя футбольная или баскетбольная; роскошная домина в Калифорнии, чтоб рядом голливудские звезды шлялись и ширялись, и еще много чего сладкого. У совершенства нет границ.

Эти последние атрибуты счастья – для очень богатых и наглых пузанов. Для любимцев нации. Доля высшего сословия. Таких человек триста в стране, или чуть больше.

Но вернемся к нам, к «нищете» среднего класса. Что еще нужно? Ага! Вот, что нужно.

Независимую престижную бабу побогаче на каждый день и парочку глупеньких моделек на воскресные дни или на праздничный отдых в Чехии или в Швейцарии.

Не говорю уж о количестве и качестве костюмов, обуви, рубашек и тому подобного барахла. И лейблы у этого барахла должны быть из узкого набора! Обувь, портмоне, часы, ручки – всё в стоимость средненького автомобиля для преуспевающего менеджера в Москве. Английский следует знать лучше русского, а ругательный сленг английский лучше самого английского. По-французски говорить с акцентом и с легким презрением. И еще (чуть не забыл, черт возьми!) хотя бы снимать приличную квартиру в Лондоне (это обязательно!) и вечно учиться там на каких-нибудь дурацких управленческих курсах за безумный гонорар.

Вот тогда ты принц! Не король еще, но уже принц!

А то – однокомнатная кооперативная конура на окраине и «жигуленок» на стоянке у дома! Прошли те времена, безвозвратно, как кажется многим, канули в вечность! Всё это было необыкновенно ценно, когда народная масса прозябала в коммуналках, а ездили все на электричках и в битком набитых потным быдлом автобусах. Да еще по телефону говорили за «двушку» из телефонной будки, а очередь на домашний, персональный телефон тянулась от рождения до смерти.

Впрочем, большинство и сейчас недалеко ушли. Но это уже их личное дело!

Вот в тех социальных условиях я и стал следователем московской городской прокуратуры. Я был на голову, нет, на две выше всей остальной публики. А сейчас смотрю на себя того, самоуверенного, и думаю, что счастливыми бывают только дураки. Это потому, что тогда я себя чувствовал по-настоящему счастливым. Я делал карьеру, я добывал легкую руду на самой поверхности, я рвал во весь опор на общественных бегах, я трясся в своей персональной телеге. Далек должен был уехать, высоко. От того, да еще от молодости, чувствовал себя баловнем судьбы, любимцем богов.

Но телега моя теперь отчаянно отстала от бешеной лавины варварского налета современности, я вдруг очутился почти в самом хвосте толпы себе подобных, и в нос мне ударила пыль из-под копыт неведомого мне племени наглых захватчиков новой жизни.

Карьера кончилась (сбита на излете!), счастья нет, три бывшие жены требуют уважения, двое детей, взрослых и никчемных сосунков мужского пола, денег, а я, дурак, всё чищу до блеска свою немногочисленную модную обувь, меняю иногда костюмы, раз в три года – машины, отчаянно коплю на квартиру в центре и на дачу хотя бы в дальнем Подмосковье, суечусь, подрагивая всеми своими стареющими мышцами и пергаментирующей кожей всё еще привлекательного лица. Желая еще прикупить квартирку где-нибудь на болгарском черноморском побережье или, может быть, под Ригой. Я – разведен, бобыль, неудачник и дамский угодник. Вот что я такое!

Припоминаю, как-то разомлел в компании своего старого приятеля, человека теперь уже очень небедного, и, глядя в томные глаза его уже взрослой дочери, студентки какого-то изящного учебного заведения в Бельгии, стал вслух вспоминать, как мы при зарплате в 150 рэ покупали с рук джинсы стоимостью в 200, а то и больше рэ. Мечтательно так вспоминал! Как будто ностальгией мучился, идиот!

«Вы, говорю, молодняк, не знаете, что такое счастье, потому что не умеете вычитать из малого большое! А нас этому жизнь учила. Мы романтиками были!»

А она смотрит на меня эдакими изумленными глазками и восклицает:

«Не представляю, как это – джинсы за большую часть доходов! Сдурели, что ли!»

А я как хлопну ладонью по столу. Посуда аж подпрыгнула. И папаша ее, мой приятель, тоже в унисон хлоп! Мы зенками своими вращаем и шипим:

«Всё вам на блюдечке! Всё вам даром! Вы машину от нас получаете, да еще ухмыляетесь – недостойна она вас, у сокурсницы лучше, дороже! А у самих на руке часы стоимостью в четыре колеса от той машины в лучшем случае. Вы даже не пытаетесь что-то из чего-то вычитать, а глазки раскрываете с возмущением: вон, мол, какие глупые, за джинсы две зарплаты отдавали!»

И тут я понял, что постарел. Я потерял себя, я ору на юность, которую сам же развращаю своей суетой. И еще я подумал, что хочу быть таким, как они – не вычитать, а складывать, складывать... И ничего не помнить про дорогие джинсы и дешевую жизнь.

Напились мы тогда с моим приятелем, а его дочь смотрела на нас жалостными такими глазами и думала, наверное, что мы напрасно прожили жизнь, что мы не умели делать дела. Она не знала, что именно эти дела и привели ее, в конце концов, к изящному ВУЗу в просвещенной Европе, к маленькой гламурной машинке, к дико дорогим часикам и прочее, прочее, прочее.

Но назад всё равно не хочу, как некоторые! У таких телег, как я, обратного хода не предусмотрено.

Мне когда-то здорово завидовали. Женщины падали в мою постель, как созревшие ягодки, жизненные блага облепляли мое спортивное тело, как теплый, морской воздух, а будущее поглядывало на меня мерцающим блеском голубых глаз. Оно было вечным, как и молодость! А как на мне сидели костюмы, джинсы, дубленки и ондатровые шапки! Как я смотрелся в «Жигулях», а один год даже в «Волге»! Ее потом пришлось срочно продать, потому что в прокуратуре тогда началась какая-то мерзкая кампания по поводу мздоимства, взяток, собственности. Могли здорово наехать! И всё равно, я был тогда счастлив и необыкновенно перспективен.

Конечно! Ведь счастье – это и есть перспектива, то есть ее ощущение. Поэтому и говорят: когда народ, или хотя бы амбициозную его часть, лишают долгосрочной перспективы, он отчаянно несчастлив, и такая власть непременно рухнет.

И жизнь рухнет! Как моя...

...Я сидел на пуфике посередине комнаты, положил на колени черную кожаную папку и привычно записывал в протоколе осмотра то, что бесстрастно диктовал старый бородач – немый, усталый судебный медик по прозвищу Ланцет, неисправимый библиофил, нищий, как церковная крыса.

В комнату нарочито лениво вошел сыщик Максим Мертелов. У него на роже была написана всё та же старая обида на меня. Ну и пусть! Пусть себе мучается своей добродетелью! Добродетель тоже бывает жестокой и мстительной.

Подумаешь, подставил я его! Смотрю вот на Мертелова и думаю: никого ты не бил, ни рукой, ни коленом! Потому что ты вообще никого не можешь принудить к подчинению и к уважению. У тебя духа не хватит!

Яхты, акции, самолеты, виллы и роскошные квартиры не про тебя, брат Мертел! Твое место в тамбуре, в крайнем случае – на боковой полке в плацкартном вагоне. А он всё дуёт губки, намекая, что он такой крутой: дал, мол, тому кавказцу. Да и дал бы, и что с того! Его вообще убить надо было, ту сволочь, а не руки об него марать!

Меня тогда вызвал прокурор Малов и, бросив передо мной заявление кавказца о мордобое на допросе, сказал важно: «Ты знаком с этим Мертеловым... знаю. Одних девок портите,

из одного стакана водку пьете, паршивцы! Проверишь теперь его на вшивость. Если сознается дурак, посажу на восемь лет, чтоб другим неповадно было... откровенничать, а не сознается – молодец, пусть живет!..»

Я искоса посмотрел на Малова и подумал, что тут дело не в воспитании. Я знал не только Мертелова, с которым мы, конечно, что-то и делили напополам, но всё равно носили в разных, так сказать, корзинах, но я знал и самого Малова. О нем ходили разные слухи – поставлен сюда с Кавказа, там родился, там начинал всё с нуля. Какой нации, неясно. Говорят, русский, но какой-то особенный русский, тамошнего посола. Знаю, что сам он из Кизляра, но есть близкая родня в Азербайджане. Меня к нему потому и определили, что свои люди везде. Он мне как-то во время одной корпоративной пьянки шепнул, что мы с ним даже вроде бы родственники. Мы, мол, одно колено, Шутка, конечно! Но за каждой шуткой, как известно, стоит горькая правда.

Я думаю, ему команду дали по тому кавказцу. Его хотели прирезать на зоне, попал к чужому клану, да еще детей грабил, гад! Свои, видимо, заступились и решили устроить показательную порку Мертелову и всем ментам заодно. Малову поручили это дело проверить, а он, посоветовавшись, как водится, со своими, остановился на мне: во-первых, вроде бы, почти земляк, во-вторых, эффект посадки друга и собутыльника (красиво и унизительно и для меня, и для Мертела!), в-третьих, повязать меня надо было по рукам и ногам, на будущее. Если удастся, впереди много других дел. В стороне не оставят. Это точно! И тогда должность, где надо. А дальше те самые яхты-виллы-акции. По скромной шкале, разумеется. Но может вполне и хватить!

«Слышал, у тебя долги есть? – риторически продолжил Малов. – Поможем. А как же! Земляки ведь! Верно?»

Я испуганно кивнул, потому что у меня действительно были долги за последнюю машину. Подходило время возвращать, а у меня половины не хватает. К родственникам обращаться стыдно, не маленький уже, а отдавать чем-то надо. Иначе, с той стороны прижмут. Потребуют расплаты, а это уже другой клан, не «маловский». Вдруг тут и через него придется перешагнуть. А как? Как, я вас спрашиваю?!

Прокурор сует мне диктофон и говорит:

«Придумай, как заставить Мертелова сознаться, пусть скажет что-нибудь важное по этому делу, пусть вспылит или угрожать станет».

«Но такая запись, – пытаюсь с отчаянием возразить, – не имеет законной силы. Я же следователь, не оперативник».

«Имеет – не имеет, – ворчит Малов. – Не твоего ума дела, Карен Вазгенович. Это кое-каким людям нужно послушать, чтобы на своих внутренних разборках иметь аргумент перед другой стороной о справедливости возмездия. Тут свои законы... Там это законную силу имеет. Не беспокойся».

Не беспокойся? Еще как беспокоился! И очень надеялся, что Максим всё поймёт и будет держать язык за зубами. Он понял! А как же! Опер! Сыщик! Сам так же умеет!

Ну, пусть теперь дуется. Мне тогда пришлось в Баку писать, деньги просить. Стыдоба! Прислали, конечно. Даже больше, чем надо было, но ведь стыдно-то как! Хорош джигит – сам заработать не в состоянии, да еще в столице! Малову кто-то сказал о том моем письме, не иначе как из Баку и сказали. Что же ты, мол, своих не премируешь? В какое положение людей ставишь? Карен, мол, сын уважаемого человека, племянник, можно сказать, гордости рода, а ты его в холодном теле держишь! И это благодарность за поддержку?

Малов, наверное, не знал, куда деться. С одной стороны, те кавказские доброты, а с другой – почти родня, Азербайджан. Тогда наши армяне там еще хорошо жили, это потом уже беда пришла.

С одними, кизлярскими, он меня почти подвел под монастырь, а другим, бакинским, надо было что-то объяснять, выкручиваться. Выкрутился. Вызвал, назначил на должность про-

курора отдела и дал годовую премию. Я о такой и не слыхивал даже. Потом я от должности отказался... слишком много забот, а воли никакой. А вот деньги принял.

Так что Максим Мертелов мне даже помощь оказал. А он думал, что в той истории он самый умный, самый хитрый. И всё равно он мне нравится. Он меня уважает, а я его. Это редкость, когда искренне.

...Максим покрутился и вышел. Что-то колкое сказал местному сыщику, хитрому, простоватому парню, похожему на оглоблю. Я продолжал писать под диктовку Ланцета.

А жаль всё-таки Игоря Волея. Не скажу, что всё его творчество перечитал, но главные вещи знал. Не врал он, а это и есть главное, в прямом и в переносном смысле. Может, за это и убили? Хрясь томагавком и усё. У нас давно умеют топориком-то!

На лестнице его дружок – Олег Павлер. Проходил у меня еще по какому-то делу... в свидетелях. Там был несчастный случай – то ли перепились в артистической тусовке, то ли обкурились, но кто-то из его приятелей выскочил в разгаре вечеринки из окна. Двенадцатый этаж, без страховки – тут выживет лишь везучий. Я дежурил по городу, мы выехали туда. Все растерянные, все талантливые, а тот уже растекся по асфальту. Тоже был талантливым. Павлер вел себя достойно. Успокоил всех, разумно так, взвешенно дал показания, повинился, что не остановил прыгуна в последний момент. Там в компании не было женщин, одни мужчины. Это неприятно бросилось в глаза. Но за это теперь не наказывают, слава богу, а случиться беда могла в любой компании. И вот сейчас он опять... и Волей – его друг. Павлер говорит, они накануне повздорили.

Ничего, Максим разберется. Потом обсудим. Хорошо, что опером у меня Мертелов. С ним можно обсуждать, он нескучный.

В комнату заглянул Андрей Бобовский. Этого я знаю через Мертелова уже лет пять, не меньше. Морда любопытная, улыбка наглая, глаза веселые. На полу лежит мертвый писатель Волей, а генеральный директор телевидения Бобовский радостно потирает руки. Вот шакал! Рад, что первый у мяса. Даже раньше льва. Ничего, сейчас львы прикатят из государственной компании и шакалов отгонят.

«Каренчик, дорогой! – слышу вкрадчивый голос Бобовского. – Брось ты это свое грязное дело, выгляни в окошко, полюблю немножко!..»

«Пошел вон!» – отвечаю и опускаю голову ниже к протоколу. Библиофил-медик сурово косится на Бобовского.

«Каренчик! – не унимается генеральный директор. – Выйди на крыльцо, почешу твоё... лицо!»

Он уже почти хохочет. Я не выдерживаю и усмехаюсь. Пожимаю плечами и, взглядом извинившись перед Ланцетом, кладу на ковер рядом с собой папку с протоколом, ручку, поднимаюсь навстречу Бобовскому. Мы выходим в прихожую.

«Пару слов для общественности, – шепчет Бобовский. – Заплачу! Клянусь мамой!»

Я смотрю на него безразлично, потому что он уже не раз платил мне за интервью. Поэтому это меня нисколько не оскорбляет, но я раздумываю – во что это ему теперь обойдется. Во-первых, он действительно тут первый, во-вторых, Волей не последняя фигура в нашем грешном мире, а в-третьих, и я не самый дешевый объект внимания.

«Ладно, – говорю я негромко, – договоримся. Но тут, братец, случай особый. Ты это имей в виду».

«Понял, понял, – радуется Бобовский, – всё понял! Выйди на лестницу, там моя Алка Домнина уже вся трепещет, тебя, понимаешь, хочет. Бери, я не жадный! Для друзей!»

Он вдруг понимает, что сказал что-то совсем уж пошлое и добавляет перца: «Ты только не думай, Каренчик, это не в счет гонорара. Это в счет гонорей!..»

И хохочет смехом победителя.

Самую удачную карьеру в жизни делает муха. Да, именно муха! Она способна воспользоваться абсолютно всем, ничем не брезгуя: ни остатками чужой пищи, ни даже фекалиями. Ее карьера совершенно предсказуема, потому что она добивается того, чего от нее хочет природа. Ей главное увернуться от мухобойки или не угодить в липкий капкан мухоловки. Только это способно положить конец ее скромным, естественным потребностям, которые и составляют всю ее жизненную карьеру. Она не должна быть первой, она должна быть одной из многих. И в этом ее счастье и ее удача.

Худшую карьеру делает самое разумное существо на свете – человек. Его амбиции носят самоуничтожающий характер, его жадность превосходит его потребности, и на его пути липких капканов куда больше, чем он выставляет на мух и на других представителей земной фауны.

Стоя на лестничной площадке перед камерой, за которой я вижу кудлатую голову мрачного оператора и рядом – рожицу хорошенькой мартышки Аллы Домниной, я думаю именно об этом.

Мое сходство с мухой лишь в одном – я так же не брезглив, оказывается ...

После короткого, но скандального интервью я вынужден запустить в квартиру оператора и корреспондентку. Они краснеют и затихают как в мавзолее. Ланцет смотрит на них и на меня с одинаковой ненавистью и нескрываемым презрением.

Съемка занимает пару минут, не больше. Потом вся группа сворачивает провода и с грохотом высыпает из квартиры, а потом и из дома. Они торопятся сесть в автомобиль и укатить на телевидение, чтобы монтировать кадры, чтобы быть первыми, чтобы схватить свой рейтинг и заработать денег для компании и соответственно для себя. Бобовский доволен, он усмехается и тоже укатывает на черном, опасном, как боевая машина десанта, БМВ, за рулем которого сидит высокий, худой парень, похожий на бывшего костолома из службы охраны первых лиц нашего славного государства.

Я вижу это из окна, и еще я вижу, что около подъезда тормозит автомобиль государственной телекомпании, потом еще один. Наконец и до них дошла информация. Но они опоздали навсегда. Жажущий зрелищ зритель теперь будет долго еще смотреть «Твой эфир», а к этим относиться с пренебрежительной усмешкой. Они только в Кремле первые, а там какие тайны расскажут! Тайны Полишинеля? То, что действительно стоит внимания, там не скажут никому. А то, что внимания не стоит, никому и не нужно. Одна лишь пропаганда, называемая теперь «пиаром» – Public Relations, всенародная промывка мозгов.

А тут действительно нужна расторопность. И тот, кто здесь скажет свое слово первым, тому и другая вера будет. Коль здесь поспел наш пострел, так везде поспеет. Рейтинг! Деньги, Слава! Опять – Деньги! С большой буквы...

Сажусь опять на пуфик, чтобы закончить, наконец, опостылевший осмотр, заходит Максим Мертелов и начинает шарить глазами по комнате. Я искоса наблюдаю за ним и строчу под сварливую диктовку Ланцета. Максим неторопливо, чтобы не мешать нам, очень тихо и аккуратно, глядя себе под ноги, обходит комнату. Он неслышно открывает ящички, заглядывает в пепельницы, в вазочки, перебирает стопки бумаг. Потом подходит к окну, около которого я только что стоял и наблюдал за тем, как от подъезда уехали победители и подъехали аутсайдеры. Я смотрел вниз, а не на подоконник, а Мертелов смотрит как раз на подоконник. Он проводит по нему рукой, и в следующее мгновение я вижу, как в его ладони шевельнулась бумажка. Я стоял над ней минуту назад и не видел ее, а он прямо к ней шел.

Максим подносит ее к глазам и читает, потом поворачивает и читает с тыльной стороны. Я знаю этого человека, он – не муха, он, как ни странно очень брезглив, поэтому его интерес к бумажке на подоконнике говорит о том, что она того стоит.

История одной женщины

У женщин историй ровно столько, сколько женщин на свете. Их физиологические потребности и физические прелести не уравнивают их, а, напротив, даже разобщают. Женщина – не загадка, женщина – не тайна, потому что у загадки и у тайны есть ответ, а тут ответа нет, тут – бесконечность, которую не объять и не понять.

Мужской пол – экспериментальный. Он создан Господом для того, чтобы поддержать большой эксперимент, чтобы стать его инструментом, чтобы быть его объектом. В нем есть загадка, потому что на эту загадку есть ответ. Это – примитивно.

Мужской пол – обслуживающий и заблуждающийся. Мужчины полагают, что они владеют миром, потому что владеют тайной, а значит, властью. Но их тайна и их власть – земные, ограниченные во времени и в пространстве. Они не владеют главной вселенской тайной – женщиной и ее бесконечностью, не владеют, потому что владеть ею невозможно. Не понимающие этого мужчины жестоко заблуждаются, понимающие – жестоко страдают.

Екатерина Алексеевна Немировская, привлекательная женщина тридцати четырех лет, написала обо всем об этом неплохое эссе в одном глянцево-м журнале для эмансипированных дамочек. Сначала она обратилась за консультацией к одному молодому хирургу, который был занят тем, что менял пол по требованию тех, кто этого хотел и кто, на его взгляд, имел на это моральное и физиологическое право.

Филолог Екатерина Алексеевна Немировская, по прозвищу Лисонька

Хирург Арсен Чикобава был человеком аскетической, даже изможденной внешности: высок, невероятно худ, бледнолиц, с длинными, нечесаными и маслянистыми черными волосами, с вечной щетиной на щеках, с жестко очерченной нижней челюстью и раздвоенным подбородком, с бесноватым блеском проваленных серых глаз.

От него исходил мускусный запах потного мужского тела и спиртного. И еще нечто, что получается не здесь, не в этом измерении. Это – не запах тела, это – запах души. Он неповторим и непередаваем словом.

Я лежала в его постели и сквозь зажмуренные глаза наблюдала за тем, как он поднялся, как матово блеснули в утренних лучах его худые плечи, как анатомически девственно выступили ребра, будто на давно не кормленном жеребце, как бесстыдно блеснули ягодицы, узкие бедра и тонкие, длинные, жилистые ноги. У него к тому же выдающееся мужское достоинство, притягивающее мой взгляд.

Арсен щедрой рукой впустил в спальню солнце – резким, привычным движением рук разметал тяжелые гардины. Я зажмурилась еще больше и улыбнулась. Он повернул ко мне восторженную голову и покачал ею.

«Что, – спросила я, – нравлюсь?»

«Мне нравится всё, что сотворил Господь, – ответил он буднично и серьезно. – И что не надо исправлять мне».

«О! – Я села на широкой кровати и потянулась, намеренно демонстрируя ему свою умеренных размеров, но на редкость правильной формы грудь, нежную линию рук, высокую шею и втянутый, напряженный животик. – Ты близок к Господу? Ты похлопываешь его своей талантливой рукой по плечу или даже придерживаешь за бороду?»

Арсен внимательно... мне показалось, даже слишком внимательно, как это делают скульпторы или художники, осматривая натурщицу, пробежал по мне своими серыми, некавказскими глазами. Он стоял уже лицом ко мне, и я тоже оглядывала его совершенно откровенно. Мне нравилось, то, что я видела, и что чувствовала ночью тоже.

«Ты пришла вчера за консультацией, – сказал он. – Но мы не поговорили».

Я рассмеялась и отвалилась обратно на подушки, разметав по ним свои темные волосы. Я знаю, что это красиво, впечатляюще. Мне об этом говорили мужчины, вкусам которых можно доверять. Они умеют оценить естественные эффекты.

«Мы делали, а не говорили, – ответила я негромко, – я пришла не за лекцией, а за лабораторным опытом, доктор. Но если желаешь... легкий завтрак и конечные выводы».

Арсен кивнул, подошел к стенному шкафу с матовым стеклом от пола до потолка, скрипнул роликами дверцы и тут же облачился в длиннополый девственно белый халат из нежной махры. На груди, на кармашке, золотом был искусно вышит его портрет в профиль и имя на английском: Arsen. Он, не глядя на меня, вышел из спальни. Я подумала, что обидела его своим цинизмом, который сейчас больше походил на недалекое кокетство.

Я поднялась, подошла к шкафу, дверцу которого Арсен, видимо, намеренно не задвинул, и увидела, что на плечиках висит точно такой же халат, но поменьше размером. Я сняла его и осмотрела: на кармашке золотом был вышит большой, изящный знак «вопроса». Рассмеявшись в голос, я нырнула в халат и вытянула из шкафа белые махровые шлепанцы. И халат, и шлепанцы вполне подходили мне по размеру. Наверное, он заранее их подобрал и здесь оставил. Пластический хирург так же точно определяет размер тела и ноги пациента, как продавец джинсов в США размер клиента. Один молниеносный взгляд и всё!

На кухне звякнула посуда, в нос ударил резкий, будоражащий запах свежего кофе. Я подумала, что когда слышу этот запах, мне всё удобно, всё комфортно, так же, как во время оргазма – хоть на голове стой.

«Турецкий, – услышала я, идя по узкому коридору на свет. – Обожаю турецкий кофе. И больше никакой другой! Турки умеют жить, они остро чувствуют жизнь во всех ее проявлениях. Они полноценная нация, они любят себя».

Я смаковала поистине чудесный кофе, который Арсен к тому же варил мастерски. Изящный стакан с ледяной водой, сопровождавший микроскопическую чашечку с густым, душистым кофе, был как нельзя кстати. Вчера, перед тем, как позволить себе уступить пристальному взгляду Арсена, я выпила немало коньяка, и теперь в голове тихо жужжали два назойливых шмеля. Два, потому что от одного из них столько неприятностей не бывает.

Арсен внимательно смотрел на меня, развалившись в ротондовом кресле и перебросив одну волосатую ногу через другую.

«Может быть, капнуть вчерашнего коньячку?»

«Это доктор советует?» – спросила я, натянув на губы кривую улыбку.

«Пьяница со стажем», – усмехнулся он, лениво поднялся и исчез в коридоре, шурша по полу такими же, как и на мне, белыми махровыми тапочками.

Спустя несколько секунд он вернулся со вчерашней пухлятой бутылкой Courvoisier. Я мельком бросила на нее взгляд и мысленно ужаснулась – коньяка оставалось на доньшке, но я отчетливо помнила, как он откупоривал непечатую бутылку в самом начале вчерашнего вечера. Ничего себе вкусили!

«Да, это всё ты!» – рассмеялся он, и между его пальцами, словно он был цирковым фокусником, блеснули две пухлятые рюмки.

Рюмки мягко осели на столик и шоколадным маслом в них засочился коньяк. Я вздрогнула от неожиданного желания разом выпить всё, что попадет в мою рюмку. Арсен опять улыбнулся и сказал, показывая свои ровные, мелкие, белые зубы:

«Это еще не алкоголизм... но ты склонна. Имей в виду...»

«Я пила вчера как мужик. А правда, что у алкоголиков вырабатывается уйма тестостерона?» – спросила я, взяв рюмку в ладонь, и для приличия немного ее погрела там.

«У алкоголиков? – он приподнял бровь. – Вот уж не знал. У них всё, что угодно может быть... Но только тебя это не касается. Я имею в виду только тестостерон»

Я отпила тяжелый глоток коньяка и закашлялась. Он молча облизнул краешек рюмки и посмотрел на просвет в нее. Будто и не слышал моего кашля, даже не поднял на меня глаз.

«Поговорим?» – спросила я, наконец.

«Поговорим», – ответил он.

«Почему ты занят таким делом?» – спросила я, чуть вскинув голову и тоже облизнув краешек рюмки.

«Тебе это зачем, девочка? – Арсен, наконец, посмотрел на меня. Глаза у него серые, внимательные, холодные. – Хочешь меня пол?»

«Только в квартире!» – глуповато хихикнула я и пожалела о своей примитивной шутке, потому что он ее даже не заметил.

А он ведь всё замечает. Получается, не захотел заметить.

«Послушай, Арсен – упрямо продолжила я. – Я – филолог... ты, собственно, знаешь... Решила заняться психологическими экскурсами в женское сознание. Это интересно, хотя и далеко от моей специальности. Зато моя специальность научила меня чувствовать слово и ценить его. Я пишу для одного журнала... так себе, гламурная штучка, владелица – одна набитая дура из правительственных содержанок... папочка у нее когда-то делал демократическую революцию в Питере, за это его влиятельные дружки кинули ей пару миллионов евро. Она ничего умнее не придумала, как кинуться в журналистику, да еще в журнальную. Но там можно писать... а другие дуры думают, что будет хоть что-почитать.

Они все строят из себя независимых светских красоток с тяжелыми кошельками. В основном, кошельки-то у их папиков, а не у них, но это неважно. Пока они раздвигают свои спортивные ножки, деньги будут, будут и интересы. Они мне любопытны... Я хочу их окончательно испортить. Пусть и они станут революционерками, в конце концов. Пусть разоряют своих папиков и делают это осознанно. Каждый должен приложить к этому руку, я имею в виду, к разорению папиков. Я желаю видеть этих светских львиц эмансипированными террористками.

Эмансипация – это форма террора, только однополого. Хочу скандала, хочу эпатажа... Отвечай! Почему ты делаешь операции по коррекции пола?»

Последнее я произнесла нарочито требовательно, сведя бровки.

«Думаешь, я объясню это так убедительно, что твои читательницы кинуться ко мне корректировать свой пол и папики поймут, что платили деньги не за те удовольствия?» – он расмеялся и расплескал по рюмкам остатки Courvoisier.

«Вряд ли! Не надейся, – покачала я головой. – Они за это своим дурам платить не станут. Если они хотят побаловаться мальчиками, то знают где их найти и сколько заплатить. Так что, тебе тут не заработать, доктор. Но... но я подпорчу им малину, я туда подолью сомнений... страхов... Давай, раскошеливайся! Я же раскошелилась этой ночью!»

Арсен серьезно кивнул и, будто проверяя, достаточно ли я была полезна, осмотрел меня с головы до обнаженных ног.

«О кей! – кивнул он. – Ответ прост. Они сами этого хотят. Я только корректирую их желания. Не каждый знает, что ему нужно. Многие путают искаженное либидо с физиологией. Прежде чем начать, я пару месяцев исследую их мозги. Если там всё в порядке, если там всё осознанно и всё готово к страданиям во имя результата, начинается моя вивисекция. Если всё это блажь, глупость, следствие извращенного видения мира или ошибка... я гоню их в шею. Ни за какие деньги не возьмусь за это».

«Бывают случаи, когда приходят назад, то есть требуют вернуть утерянное?» – я пригнулась к столу, чтобы заглянуть ему в глаза.

Арсен кивнул, вздохнул и отвернулся к окну.

«Это возможно?» – добивалась я.

«Нет. Почти никогда, это дорога в одну сторону», – он поднялся.

Я не сдавалась:

«Но почему ты за это взялся? Что, было интересно? Ты тоже немного извращенец?»
Он прошелся по кухне, убрал со стола пустую бутылку и открыл бар. В глубине его стоял джин.

«Будешь?»

«Буду, – нагло ответила я, – в чистом виде».

Арсен кивнул, взял с открытой полки два высоких стакана, наполнил их до половины, один протянул мне, второй взял в руки, повернулся спиной к разделочному кухонному столу, оперся на него, скрестил ноги и ответил:

«Я когда-то сам хотел поменять пол», – ответил он и почти полностью выпил свой джин, залпом.

Я разинула от изумления рот и медленно поставила стакан на стол. Потом я поднялась, подошла к Арсену, неторопливо развела полы его халата и протянула руку. Он почувствовал ее и вздрогнул, улыбнулся несмело. Я отодвинулась от него, аккуратно запахнула халат и опять села на свое место.

«Это ты хотел поменять пол? С ума сошел!»

«Я всё перепутал тогда... я смешал либидо и физиологию. У меня были другие идеалы, милая, – он подошел к своему креслу и, поскрипывая плетенкой, провалился в него. – Потом всё менялось... один человек, мой учитель в институте, всё мне доходчиво объяснил. Теперь я делаю операции по коррекции пола и веду вполне традиционный для мужчины образ жизни».

«А все же... почему ты хотел этого? Почему хотел сменить пол?»

Арсен опустил в кресло, покрутил в руках уже пустой стакан и ответил, подняв на меня холодные серые глаза:

«Я ненавидел отца... с детства. Я любил мать, безумно. Она была близка мне во всем. Я решил ему отомстить, я не хотел быть таким, как он... я хотел быть ею».

«Вот это да! – воскликнула я и хлопнула в ладоши. – Ты персонаж Хичкока!»

Он вдруг рассмеялся, весело, задорно. Потом поднялся, встал надо мной, непринужденно распахнул халат перед моим лицом, и я поняла, что и этот день, и последующую ночь проведу у него.

Статья у меня получилась блестящая. Нет! Ну, честное пионерское, блестящая! Так многие говорили! Я рассказывала в ней о том, как формируется тип человека, независимый от принятых в обществе традиций. Я настаивала на том, что мужской пол экспериментальный, а женский – непреходящая основа жизни на земле. Я доказывала, что лишь то существо, которое чувствует себя основным, твердо стоит на своем ощущении пола, а то, которое видит себя предметом эксперимента либо его орудием, способно на трансформацию в свою противоположность. Господь всё устроил так, что главным существом является женщина, а экспериментальным, вторичным – мужчина. Этими скрытыми, внутренними ощущениями и руководствуется человечество. Эмансипация – лишь документ о владении крепости, а не сама крепость. Крепость неизменна и непоколебима, что бы ни вопили те, кто считают себя сильной стороной человечества. Ребро Адама, а я так и назвала статью, лишь та соломинка, за которую держится утопающая в своей самоуверенности мужская особь.

Боже! Какой был скандал! Сколько было писем, звонков, криков, стонов! По-моему, все обезумевшие лесбиянки и трансвеститы столицы решили, что наконец нашли своего кумира.

Я написала еще одну статью, в которой попросила не путать сексуальное вождение с политическим самосознанием. Скандал усилился. Меня стали звать на телевизионные шоу и поползли мерзкие слухи, что Катя Немировская рвется в парламент, что она готова спать ради этого с кем угодно и как угодно. Мне припомнили одну чухонскую политическую фигуру, которая взобралась на свой национальный властный Олимп, благодаря тому, что за нее проголосовали тамошние лесбиянки и эмансипированные извращенки. Я отвечала, что кое за кого тут голосуют неучи и набитые дураки, которых потом ставят в неудобные и неприличные позы,

и от этого их избранники даже не краснеют. Дайте женщинам дорогу во власть и вы не будете краснеть! – заключила я свою статью. И опять посыпались приглашения на шоу.

Арсен звонил мне, посмеивался, но я знала, что он благодарен за то, что я ни разу не упомянула его имени и даже не сослалась на его историю. Мы виделись еще много раз, но больше я с ним надолго не оставалась. Он нравился мне, меня к нему тянуло куда больше, чем к другим мужчинам с определенными и ясными стандартами. Это и пугало более всего! Арсен Чикобава, вполне мог оказаться модифицированной генетической молекулой, которая изменит меня, моё устоявшееся, самодостаточное ДНК. А этого я как раз не желала! Слишком опасен был бы эксперимент с этой особью.

... Сколько себя помню, я всегда была непослушной девочкой. Родители это не очень-то и замечали, потому что воспитывала меня бабушка по линии отца мама, старая пианистка с артритическими уже пальцами умелых, быстрых рук.

Мои родители были людьми творческими и занятыми. Папа служил в МИДе послом, всегда болтался по длительным командировкам, писал стихи, этнографические работы, защищал диссертации и публиковался в толстенных научных журналах. Мама была его неизменным редактором, секретарем, машинисткой и женой... то есть не просто женой, а «женой посла». Им было не до меня, поэтому они и не знали, насколько я непослушна и упряма.

Бабуля им этого никогда не рассказывала. По-моему, она жаловалась лишь деду, когда ходила к нему на могилу на Ваганьковское кладбище. Деда я не помню, он умер рано, от какой-то загадочной болезни, при упоминании которой бабуля бледнела, а родители тяжело вздыхали. Болезнь якобы была приобретена на его научной службе. Дед прожил бурную общественную жизнь, заработал два десятка орденов и медалей, изобрел что-то страшно важное для обороны страны и был очень дорог ее коммунистическому руководству. Одна из улиц в пределах Садового кольца долго носила его имя.

Что за загадочная болезнь была у деда, не знаю. Могу лишь догадываться, но все мои догадки больше похожи на сюжет авантюрного романа.

Его отравили. Вот в чем всё дело!

Незадолго до его смерти у нас в доме... то есть у них, потому что меня тогда еще не было... появился иностранец. Дед его дружбой очень дорожил. А однажды сказал бабке, что ему предлагают кафедру в Кембридже. И даже свою лабораторию. А вскоре дед вдруг умер. Вот такая история.

Родители матери умерли давно, они были киевляне. О них у нас говорят с уважением и почтением. Всё-таки оба видные партийные работники. Они погибли на море, во время отдыха, когда мама училась в Москве в «инязе». Вышли на небольшом суденышке половить рыбку в компании друзей и попали под редкое для тех мест торнадо. Их здесь называют ураганами или просто штормами, почему-то считая именно эти слова исконно русскими. Суденышко перевернулось, погибли все – восемь матросов, капитан, двенадцать пассажиров. Нашли тела только четверых. Среди них маминых родителей не было. Каждый год четырнадцатого июля, в день того торнадо, папа и мама прилетают на день в Сочи, недалеко от которого стряслась трагедия, и бросают в воду два красивых, дорогих венка. Я тоже иногда прилетаю туда, там и вижусь с родителями. Печальное место и печальный повод. У нас вообще отношения какие-то печальные, одинокие.

Словом, росла я в бабулиных узловатых, музыкальных пальцах. Она научила меня довольно сносно музицировать, держать спину, есть ножом и вилкой, твердо знать предназначение столовых приборов, писать простейшие стишки, выборочно читать (... именно выборочно, а не всё подряд! Неразборчивость в этом деле она считала проявлением бескультурья, как и всякую несдержанность), добиваться во всем справедливости и не давать в обиду своих.

Когда бабуля ушла из жизни, я растерялась. Мне стало скучно и страшно. Но бабуля приходила ко мне во сне и наставляла меня.

Я осталась одна в огромной пятикомнатной квартире на Мясницкой, в старом доме. Кривоколенный переулок, изящно изгибающийся в Банковский, почти упирается в наш дом. У нас туда даже есть выход, через двор. Родители прилетают редко, они ведут себя обычно как клиенты отеля: недовольно дуют щеки, переглядываются, подолгу рассматривают какие-нибудь вещи и недоуменно отставляют их в сторону. По утрам они молча сидят на кухне и ждут, наверное, когда развернется перед ними скатерть-самобранка, называемая ими «шведским столом».

Я к их приезду нанимаю домработницу Нину, которая вкалывает в доме так, как, должно быть, весь вместе взятый вышколенный персонал в пятизвездочной эмиратской гостинице. Нина – вообще отдельная история. Сначала она очень недолго служила в «Национале» сервировщицей, откуда ее выгнали за какой-то некрасивый скандалчик; ее мне рекомендовала наша прежняя домработница, веселая девица Надька Павельева, ее землячка с Дона. Но об этом после, после...

Потом посол с женой посла улетают к себе до следующего года, и я с облегчением вздыхаю. В день их отъезда мы с Нинкой надираемся от счастья, как ямщики, следим ногами везде, где возможно, разливаем на кухне вино и разбрасываем крошки, мусор, разные огрызки. Шабаш устраиваем, одним словом. Наряжаемся во всякое тряпье и визжим, как резаные. Очень весело, хотя утром всё это приходится самим же убирать.

Я не замужем и никогда в этом тяжком гражданском состоянии не состояла. И не буду! Родители очень негодуют, постоянно подсовывают мне (заочно, разумеется, они же всегда в отъезде!) каких-то занюханных карьерных бобылей, а я налаживаю их пинками под зад и пускаюсь во все тяжкие. То есть сплю с теми, кто мне приятен, и люблю тех, кто этого заслуживает, на мой взгляд. А взгляд у меня очень капризный и очень внимательный. Не люблю людей без изъянов! Да! Без изъянов я всех презираю, потому что они примитивны. Человек должен быть интересным, а к этому его либо толкает изъян (чтобы выделиться, чтобы компенсировать недостаток!), либо изъян получается вследствие его природной оригинальности.

Да вот, пожалуйста – доктор Арсен Чикобава! Таких, как он, днем с огнем не сыщешь! Любопытнейший тип мужчины! И имя, и фамилия! Чико-чико-чико! У кого такое есть! Только у меня. То есть, конечно, у него. Но и у меня...

Есть еще один... но о нем потом. Это – талантище, одаренность планетарного масштаба. Бабуля его терпеть не могла, а я уважала. Меня к нему тянуло тогда даже больше, чем теперь к Арсену. Потому что такая одаренность – тоже тип уродства. Потом, потом... о нем потом... когда-нибудь.

Однажды я зимой попала в Псков. От скуки, от тоски, уступив его, моего знакомца, настоянию. «Поезжай, говорит, проветришься. Да еще загляни в небольшой городишко поблизости, почти на эстонской границе. Я дам тебе адрес... посмотришь там на один домишко...»

«Зачем?» – спрашиваю.

А он усмехается и только.

Я ему уступила: просто взяла и поехала туда автобусом с площади перед Казанским вокзалом. Тряслась несколько часов. Псков показался мне не очень оригинальным городом – слишком хотел понравиться туристам. Я села на местный маршрут и поехала в окрестности, ближе к прибалтийской границе, туда, куда меня толкал тот мой знакомец. Говорят, оттуда раньше до Москвы было почти сутки поездом. Теперь он доезжает за несколько часов, с пересадкой в Пскове. Сутки – это романтичнее, а несколько часов всё упрощают. Но я всё равно ехала автобусом, а не поездом.

Городишко показался мне забавным: парочка каких-то жалких фабрик, речка с пристанью, привокзальная площадь, путаные улочки с домами-развалахами, редкие прохожие и какие-то легенды о подземных ходах, ведущих чуть ли не в Польшу, хотя до Польши оттуда пилить и пилить. Рядом Эстония, но, похоже, местные старики ее и считают Польшей. У них

всё Польша, что за кордоном. Слово «Польша» для них – синоним слова «чужбина». Очень смешно!

Впрочем, может быть и вовсе не смешно. Настрадались, наверное, когда-то очень давно от ляхов. Потоптали их, побили крепко. В окрестностях города несколько разваленных крепостей; от них только и остались одни серые камни, криво сложенные в низкорослые, искаленные башенки. Камни молчат, а люди чужбину и опасность, оттуда исходящую, до сей поры Польшей зовут. Я такого больше нигде не встречала. От старой истории остались лишь болезненные легенды, а от этих легенд – только одно название.

Я разыскала там тот забавный домишко, однокомнатный, смрадный какой-то, с оконцами-бойницами и с дверью, на стекле которой было написано, что дом продается или сдается в аренду. Вокруг дома ходили какие-то мрачные легенды. Он был как человек с изъяном. Уродец эдакий, горбун со злыми подслеповатыми глазенками. Но от дома исходил какой-то почти эротический дух страха. Я походила вокруг, замирая, и задумчивая вернулась в Псков. Оттуда я в тот же вечер поездом, укатила в Москву.

Я видела тот дом во сне. Он скрипел дверями, бил окнами, рассыпал стекла, как алмазы, и выл жутким голосом от пронизывающего ветра.

Тот мой оригинальный приятель, которого при жизни не любила бабуля, выслушал меня и вдруг сказал:

«Купи этот дом! У тебя ведь есть деньги. Уйма денег! Тебе всё равно их некуда тратить. У вас имеется загородная дача, на которой ты бываешь пару раз в году, ты почти не ездишь на своем шикарном автомобиле, ты бездельничаешь в своей роскошной квартире... от скуки катаешься по всему миру, от скуки же платишь за нищих оригиналов, покупаешь одежду в бутиках и всё никак не растратишься. Ты – завидная, стареющая московская невеста. Тебе не хватает хорошей встряски! Купи этот дом и встряска будет. Это я тебе обещаю».

Словом, я купила тот дом.

История одной привязанности

Привязанность – сильнее любви. Любовь – это страсть, ревность, недоверие и вера, смешанные в одном страдающем сознании. Любовь имеет и свои границы, и свое начало, и свой конец.

Страсть, любовь – смертны. Привязанность – вечна. Она может не требовать ответного чувства, потому что предмет привязанности может быть неодушевленным.

Бывают привязанности у коллекционеров. Они больше напоминают навязчивые мании, но эти мании чаще всего безобидны. Если только такая привязанность не разоряет семью коллекционера и его самого.

Если же у предмета привязанности есть душа, то дело серьезнее. Эта привязанность куда более роковая, куда более веская. Это – привязанность к человеку, к его образу, слову, глазам, запаху, одежде, к манере существовать, к его интимному обиталищу.

Олег Павлер был подвержен именно этому вечному чувству. Он сжился с ним, он сам стал неотъемлемой частью его.

Олег Генрихович Павлер, режиссер-постановщик, по прозвищу Милый.

Без Игоря мне невозможно тошно! Мир свернулся в одну узкую слепящую полосу, в которой неразличимы лица, предметы, климат, время... Звуки превратились в тонкий, раздражающий свист, а запахи вообще исчезли. Скончались, свернулись в рогалики рецепторы органов чувств. Они стали не нужны мне, а, значит, ненужной стала и сама жизнь.

Игорь рассказывал мне о том времени, когда меня еще не было, а он уже был и даже осознавал себя в полной мере. Я слушал его и доверял его чувствам, его ощущениям. Если бы это же написали в учебниках, то я бы даже не раскрыл их. Я знаю нашу наинovou историю посредством его ощущений, его памяти, его опыта. Я осознал свое родство с прошедшим временем, благодаря ему.

Он писал книги... он писал себя самого, как художник пишет автопортрет, и о своем времени, как это делает дотошный историк, но это было и обо мне, причем, куда более искренне, чем если бы я сам вдруг решился поведать что-то. Он был моим слухом, моими глазами, моим обонянием, и даже моей памятью. И вот всё это в одночасье отключилось. Разом! Может ли существовать жизнь без органов чувств, без прошлого, без настоящего? Разве возможно будущее без всего этого?

Вот уже неделю я не появляюсь на репетициях. Мне звонят, но я не слышу, меня теребят, но я не чувствую, мне что-то пытаются показать, но я не вижу.

На похоронах было много людей. Я смотрел на них и думал, что с большинством из них Игорь не выпил бы и чашки чая. Он беззащитен теперь – всякий может прийти и, невзирая на те мерзости, которые творил против него при жизни, оскорбить память о нем своим присутствием. Это еще куда более тяжкий проступок, чем плюнуть живому в лицо. Потому что мертвый беззащитен, потому что мертвый молчалив. Это – безнаказанный, прикрытый маской соблезнования цинизм.

Кто-то скажет, что у Игоря не было врагов, не было даже недоброжелателей. Но это ложь! У него не могло не быть врагов, потому что у него была своя непоколебимая нравственная позиция, а она своего рода крепость на границе его жизни. Крепость не строится случайно – слишком дорогое сооружение. Крепость возводится лишь тогда, когда виден враг на подступах к твоим территориям. Значит, был враг!

Я убежден, хороший полководец лишь тот, кто оставляет свои качества воина напоследок, лишь после того, как качества дипломата уже исчерпаны. Но Игорь Волей был неисчерпаем как дипломат, и потому железа полководца у него почти атрофировалась.

Но вот ведь беда-то какая! Рухнула защита, открылось тело и враг нанес упреждающий, подлейший удар. Как не дрогнула рука его! Как не парализовало ее! Господи! Ты ли позволил?!

Надо идти в храм и молиться о душе новопреставленного Игоря...

А я не могу! Не могу! Коли Господь допустил ту несправедливость, так нужно ли идти в его Дом, в его Храм и поклоняться Его вере? Как преодолеть противоречие? Как уверовать в то, что пути Его неисповедимы и прибрал Он к Себе лучшего из нас?

Земные часы убийцы продлены, а земные часы жертвы, невинной, чистой, остановлены. Так что же, надо идти в храм и воспеть осанну той несправедливости, той трагедии?!

Я иду за гробом чуть в стороне, потому что в этом двуличном мире не могу претендовать на то, чтобы быть первым в этой процессии. Нет, вторым! Потому что первым в ней – Игорь!

Но первые здесь его бывшая жена Ирэн и дочь Илона. Именно Ирэн – ее так и называли родители, венгры по происхождению, из Западной Украины. Игорь был женат пятнадцать лет. Они жили тихо, очень мирно. Со стороны могло показаться, что это любящая семья. Но только они, Игорь, Ирэн и даже маленькая Илона знали, каким напряжением дается им этот противоестественный союз. Я появился много позже, уже лет через восемь после их расставания. В разрушении их семьи моей вины нет.

Но за гробом первыми идут они. Они, а не я.

Ирэн – полная женщина, умело крашенная блондинка, стареющая, но не сопротивляющаяся этому естественному процессу. На ней свободное черное платье, черный длинный газовый шарф, сияющая роскошью крупная бриллиантовая брошь на груди. Она накрашена, ухожена, уложена. Но это дань не ему, ушедшему, а привычке, в которой она прожила свою тихую жизнь.

Илона похожа на мать. Она так же крашена в желтый, пшеничный цвет, так же полна и так же соответствует своему возрасту. Ей немногим за тридцать лет, у нее есть постоянный, вот уже лет семь, жених по имени Виталий. Илона нигде не работает, нигде никогда не училась. Она жила в гнезде своих родителей, где живет и поныне. Её всё устраивает, и даже то, что Виталию около пятидесяти, что он женат, имеет двоих детей и веселую распутную женушку. Он всё равно числится в женихах у Илоны, и это знают и его жена, и даже его дети, мальчики двенадцати и четырнадцать лет. Это по какой-то причине устраивает все стороны. Они как будто даже ждут, что Виталий вот-вот расстанется со своей семьей и переедет к Илоне.

Для этого есть все – хорошие квартиры у Илоны с Ирэн, у жены Виталия, даже квартира его покойных родителей, которую сейчас сдают за огромные деньги и которая потом достанется его сыновьям. У них есть старая удобная дача в Мамонтовке и домик в деревушке под Тверью.

Но никто ничего не предпринимает, и никто ни от чего не страдает. Игорь всегда удивлялся этому. Сначала переживал за дочь, но потом вдруг понял, что и ей это вполне подходит. Есть солидный жених, значит, не ушла молодость. Есть жизненная перспектива и нет никаких бытовых забот о чьем-то желудке, о чьей-то одежде, о чьих-то неисправимых привычках.

«Илона ленива, – понял, наконец, Игорь. – Илона похожа на свою мать. Она проживет так до старости и никогда не поступится своими удобствами. Она одна знает, что ей удобно, а что нет».

И тоже успокоился. Перестал жалеть дочь, которая в этой жалости не нуждалась.

«Думаю, – рассуждал однажды Игорь вслух, – Ирэн это тоже устраивает. Представь, если бы в их дом пришел Виталий со своими привычками, с постоянными посещениями дома его детьми, с финансовыми претензиями отставленной жены, привыкшей к свободной и беспечной жизни! Ирэн не вынесла бы!»

Я об этом догадывался и очень ценил этот общественный договор, который они все, Ирэн, Илона, Виталий, его жена и двое мальчишек, заключили между собой. Есть жених, он же чужой муж, он же заботливый папаша, есть незаконная теща с квартирой на Трубной, есть флегма-

тичная невеста. Точный срез нашего общества: есть всё, выглядящее очень естественным и очень здоровым, и всё это крайне фальшиво, крайне негармонично.

Он умер с этим в душе. Он с этим ушел. Боже! Какой ужас!

И меня ведь этот их «общественный» договор устраивал при всей его неестественности. Привязанность очень эгоистична, очень требовательна и потому неизмеримо более жестока в сравнении даже с ненавистью. Ненависть может насытиться кровью и затихнуть, а привязанность лишь распалиться, разгореться от крови! То и другое – страсть, но первая плоская, а вторая глубокая.

Я часто думал об этом и думаю теперь, когда уже нет в живых объекта моей страсти.

Я знаю ответ, но стесняюсь произнести его вслух. Мне страшно!

А ответ прост – как в «Бесприданнице» крик Карандышева: «Так не доставайся же ты никому!»

Нет! Нет! Меня не устроила его смерть! И он был верен мне так же, как я ему. Но что было бы, избери он, в конце концов, семью? Как повел бы себя я?

Сорвал бы со стены тот томагавк, тот топорик? Я не знаю себя до конца и потому не знаю, что бы предпринял.

Семья идет за гробом, тут же печальный Виталий, двое его сыновей и разбитная, хорошенькая жена. Сейчас она, правда, соответствует обстоятельствам: на ней темно-синяя блузка, серая юбка и черный шарфик намотан на шею. Марина, кажется. Точно, Марина.

Я по-прежнему в стороне. На меня косятся все, кроме членов семьи Игоря. Они меня не замечают. Они не простили Игорю его слабости, но о мертвых хорошо или ничего. Поэтому меня и не замечают. То есть – *ничего!*

И еще тут телевидение. Аж две камеры теперь! Кажется, та же компания, что была у дома Игоря. И девчонка с микрофоном та же. По-моему, они затеяли какой-то сериал в реальном времени. Рейтинги собирают, мерзавцы! Я всегда себя спрашивал – а телевидение искусство? Или ремесло? Ответа не нашел. Мысли и теперь путаются. Задумывалось, наверное, как эксперимент, потом решили, что это искусство, но все же, в конце концов, оно стало ремеслом. Эксперимент не может быть искусством. Разве что когда в нем участвуют не толпа, а лишь немногие личности. Толпа не творит искусства и не ценит его. Ей только кажется, что она на это способна. Искусство одиноко. Как любовь. Как мертвец.

Отворачиваюсь от камер, хотя они единственные смотрят на меня своими бесстрастными объективами. Представляю, что скажет комментатор сегодня в эфире: «Приятель убитого совсем одинок». Ну, что ж, это обнадеживает... В этом есть своя эстетика. Как в искусстве. Печальная эстетика одиночества.

Да черт с ними! Циники...

Донское кладбище небольшое. Игорь будет похоронен там. Но сейчас его тело предстоит сжечь в Митино. Родным выдадут урну, и они закопают ее в могилу к родителям Игоря, у самой стены кладбища, недалеко от роскошной могилы Муромцева². Мы там часто бывали с Игорем. Он убирал родительский холмик, украшал его несколькими розами, сеял траву. Однажды он, протирая плиту, провел рукой по чистой её нижней половине.

«Вот здесь когда-нибудь напишут: Игорь Волей, – сказал он серьезно. – И две даты. Как странно! Вижу, осознаю, даже знаю, и душа не холодеет...»

У меня холодеет. Сейчас холодеет и тогда похолодела. Он сказал это за две недели до своих похорон. Мы были на Донском, проезжали мимо и остановились, как обычно.

Потом мы остановились у могилы Муромцева. Игорь покачал головой и вздохнул.

² Сергей Андреевич Муромцев (1850–1910) – русский юрист, публицист и политический деятель. Председатель Первой Государственной думы (1906). Его племянница Вера Николаевна в 1906 году вышла замуж за писателя Ивана Алексеевича Бунина.

«Хочу написать о нем. Собираю материал. Забавный был человек. Фамилию его предки от города Мурома приобрели. ...Но ты посмотри, какой памятник, какое погребение! Первая Дума... Первая... У него с Буниным, по-моему, что-то не ладилось. Не пойму пока... Впрочем, Иван Алексеевич Бунин был раздражительным человеком. Знаешь, как его звали в литературном обществе, когда он с племянницей Муромцева, с Верой, сошелся? Подающим «кое-какие надежды беллетристом». А что о нас в таком случае скажут? Если вообще что-нибудь скажут. И надежд, мол, не подавали? Так и легли под холмик, к стене».

Он усмехнулся невесело и тепло, как-то почти по-отечески, обнял меня за плечи. Мы так и вышли за ворота кладбища, молча.

Думал ли я, что вернусь сюда так скоро и так больно вспомню его печаль!

Игорь отделял от своих гонораров деньги Ирэн и Илоне. Он хорошо зарабатывал. Ему щедро платили в Европе, в Америке. А в России – нищенски, унижительно для всех сторон... но тут всё и всех унижает. Он мирился с этим, понимая это как дань российской исконной дремучести.

«Таковы родители, – смеялся он, чуть печалась, – нечего их ругать. Мы сами от них приходим. Мы – ветки, продолжающие корни. Так было, так будет... Стыдно, а что делать! Таково растение, таким его создал Господь. Такова его жалкая природа. Сам Достоевский настрадался от нищеты и долгов. Тургеневу, его современнику и знакомцу, родившемуся с серебряной ложечкой во рту, платили за каждое произведение на порядок больше, чем гению, которого теперь безоговорочно признает мир».

Теперь от Игоря осталась только престижная квартира в Кривоколенном. Может быть, теперь Виталий с Илоной, наконец, сойдутся? Ирэн не будет страдать на своей Трубной от присутствия чужого ей человека с чужими детьми.

Я вздрагиваю от этой мысли и, пугаясь ее продолжения, смотрю на родню Игоря, кровную и некровную.

Но потом отбрасываю свой страх в сторону, потому что не вижу никаких страстей. Ведь всех всё и так устраивало! Что же еще?

Я никогда ничего не понимал в проблемах собственности и в финансовых средств. Мой отец был нищим по убеждению, как и моя мать, как и их родители с обеих сторон. Мне даже кажется, что мои родители потому и сошлись. Их родители занимались науками – с одной стороны естественники и химики, с другой – филологи и лингвисты. Они накопили массу знаний, обратно пропорциональных денежной массе.

И очень этим гордились! Это, говорил мой папа, как любовь, которая портится наследством и приданным.

Так что вступая в самостоятельную жизнь, я был девственно нищ.

Мой отец, Генрих Павлер, свое детство провел в Освенциме и выжил. Он наполовину немец, наполовину, по матери, еврей. Его отец был естественником, а мать химиком. Ее убили первой, его вторым, за связь с ней и за отказ эту связь прервать. Отца отправили в лагерь. Он скрывался три года под нарами – и от евреев, которые считали его немцем, и от немцев, которые считали его евреем. Три года скрывался, три года мимикрировал то под одних, то под других. И выжил! За то, что выжил путем мимикрии одни потом называли его истинным евреем, а другие истинным немцем.

«Грустно, – сказал мне как-то Игорь и погладил меня по голове так, как это когда-то делал только папа. – Грустно, что ни одна сторона так и не поняла другой. Этого не искупил никто».

Больше некому погладить меня по голове...

Вот такая была у меня жизнь: нищенская гордость двух убежденных в святости нищества семей. Мамины родители были русскими. У них и фамилия говорила сама за себя – Русские. Иван и Мария Русские. Филолог и лингвист. Они тоже были нищими по убеждению. Им

казалось, что их науки от денег портятся, потому что только голодный художник способен на что-то.

Игорь посмеивался над этим и, когда раздавал направо и налево свои гонорары за романы, сценарии, очень потешался над самим собой.

«Ваша родовая нищета – заразна, – говорил он. – К ней тянет, как к пороку. Успокаивает лишь то, что она абсолютно интернациональна. И знаешь, что? В ней есть даже что-то космополитическое».

Я вижу, как уплывает его окаменелое, холодное тело в черную шахту преисподней митинского крематория. Вижу и не вижу, слышу и не слышу – потому что мои чувства атрофировались в тот момент, когда я наконец понял, что его не стало.

Когда-то и я был женат. Очень коротко, еще в студенческую пору. Недели две или даже три. Ее звали Светкой. Она была моей первой и последней женщиной. Потом всё изменилось, и во мне, и вокруг меня. Я не видел Светку уже лет пятнадцать. Наверное, она вышла замуж, может быть, даже нарожала детей. Ее имени и фамилии нет среди актрис, значит, она так и не дошла до сцены, хотя училась на актерском. Она была слабенькой студенточкой, просто никакой. У нее дед всю жизнь играл Ленина, за это его внучку приняли на актерский.

Да Бог с ней! У нее свой путь, у меня свой. Не состоялось это, зато состоялось нечто другое.

И теперь это «другое» медленно, под звуки третьей части 12-й сонаты бетховенского на «Смерть Героя» уходит навечно в провал, из которого нет обратного хода.

«Marcia funebre sulla morte d'un Eroe»³ – так называют этот бетховенский траурный марш. Итальянский красив и печален...

Я еду домой в старом, много раз битом «Фиате», не разбирая дороги. Я думаю о том, кто пришел в вечер смерти Игоря к нему домой. Не то француз, не то еще кто-то. Игорь сказал по телефону, что речь пойдет о правах на сценарий по его последнему роману. Платили всегда хорошо, Игорю нужны были деньги, он должен был иметь запас, для того, чтобы раздать его – Ирэн, Илоне, мне на спектакли в Сибири...

«Дети, – задумчиво качал он головой, решительно и властно засовывая мне в сумку очередную увесистую пачку иностранных бумажек, – они для меня не имеют имен, не имеют нации, не имеют пола, они имеют только возрастные признаки. Это великолепно! Это и есть идеал гуманности жизни, ее нетленность. За это не жалко платить, потому что уникально, потому что очень здорово! Нам воздастся, и тебе и мне!»

У него всегда дома были деньги. Может быть, пришли за ними? Этого я не сказал тому сыщику. Вроде бы недурной человек. У него глаза есть...

Я приехал к себе, в маленькую квартирку на окраине, в Сабурово. Впрочем, когда-то это была окраина. Теперь аж почти до Домодедово по Каширскому шоссе разлегся шумный город.

Рядом Царицыно, где у того же Муромцева когда-то была дача и где жили Иван Бунин с Верой. Екатерина Великая задолго до того выбрала дальние, подмосковные пруды для своей загородной резиденции. Но не состоялось! Строили тут и Баженов, и Казаков... Да так ничего и не вышло... Сейчас доделали, додумали за них... Хорошо ли додумали?

«Каждому овощу свой фрукт!» – любил пошутить Игорь.

Нашему овощу вот этот фрукт! Я живу на одиннадцатом этаже в двухкомнатной малогаборитке. Эдакий «гарсоньер» по-советски. Гарсон, мальчик – это я. А это – мое обиталище.

Я начинаю припоминать кое-что из последних разговоров с Игорем. Это предложение о покупке сценария ему впервые поступило за две недели до его похорон. Именно! В тот день мы приехали с ним из Донского, где были на могиле его родителей. Игорь говорил, что трава

³ «Похоронный марш на смерть героя» (*итал.*)

никак не приживается, растет пучками как волосы на голове у лишайного. Он умел говорить очень образно, очень ярко...

Я усмехнулся и спрятал улыбку, потому что всё-таки говорили о могиле. Он хитро стрельнул в меня взглядом и покачал головой. Я покраснел и хотел что-то ему ответить, в свое оправдание – «мол, сам виноват, нечего начинать...». Мы никогда с ним не ссорились, просто иногда перекладывали вину за что-то друг на друга. Я уже открыл рот и в этот момент зазвонил телефон.

Точно! Это был тот человек. Игорь говорил с ним долго. Они обсуждали его роман. Игорь всегда был спокоен, когда речь заходила о его литературных вещах. Ему, казалось, было всё равно, что там изменят или что допишут, или оскопят. Но это только так казалось! Просто он избегал конфликтов. Он считал их неконструктивным явлением.

Я никогда этого не понимал! Конфликт ведь рождает истину. Он инструмент естественного отбора!

Игорь мне отвечал: инструмент, но слепой. Как орудие – выбирает большую цель и выжигает всё вокруг. А если там, около цели, невинные жизни? Слепой инструмент преступен, считал Игорь.

Я терял аргументы. Он был очень терпелив, уважителен к чужому голосу. И на этот раз он слушал телефон, а потом тихо, как-то очень изычно, возражал.

Как же он называл собеседника? Имя... имя какое-то непривычное слуху. Мартин?.. Нет. Генрих? Нет, не Генрих. Но все же что-то нерусское, что-то приносное... Германн! Точно, Германн. Да! Да! Он еще сказал: «Как у Пушкина в «Пиковой даме». Не имя, а фамилия. С двумя «н». Иностранец, мол... что с него возьмешь!»

Они договорились о встрече на Мясницкой, около чайного дома⁴ Гиппиуса. Там теперь только-только закончился ремонт... серое еще всё... Это Германн сам назначил место. Не то он там когда-то рядом жил, не то работал в чайном... Точно, работал! Он подрабатывал там грузчиком в студенческую пору. Игорь еще пошутил по этому поводу, что это безопаснее, чем быть грузчиком в винном магазине. Будущее у такого грузчика другое. Да! Они именно так и шутили.

Почему же они не встретились там? Может быть, Игорь теперь был бы жив!

Германн внезапно заболел, ангина. Точно! Игорь мне позвонил и сказал, что встреча переносится, а потом тот последний звонок и мой отказ приехать из-за попойки с сокурсниками. Идиот! Идиот!

Игорь вдруг почему-то стал беспокоиться. Он не поверил в ангину. Конечно, не поверил! Писатель умеет не только сочинять, но и видеть. Он что-то заподозрил и попросил меня присутствовать. А мне отказала интуиция! Или эгоизм и лень взяли верх? Вот она цена глухоты!

Надо срочно найти того сыщика. Он был на похоронах, я его видел. Стоял у всех за спиной и всё смотрел, смотрел... Будто пересчитывал людей.

Мы спорили с Волеем о том, что можно, а что должно идти на сцене. А чего нельзя делать! Я горячился, топал ногами, краснел, потому что я тогда уже почти поставил пьесу... Игорь отнесся к ней недоверчиво.

«Нет места на театральной сцене примитиву кровавого преступления, – сказал он. – Оставь это нам, писателям и сценаристам. Это не дело театра. Смерть не может быть условной. Она слишком очевидна. А театр – великая условность. В нем смерть лишь иносказание, а у тебя тут крови много, слишком много для искусства!».

Но я всё равно ставил ту пьесу. Ее, между прочим, написал один небесталанный драматург. Он считал иначе, чем Игорь Волей. В ней был серийный убийца, серийное преступле-

⁴ Жилой дом с чайным магазином на первом этаже на ул. Мясницкая, дом 19. Отличается оригинальной архитектурой, выполненной в изысканном китайском стиле.

ние. Это был маленький горшочек, в котором я выращивал маленький баобаб. Истинный же, гигантский баобаб вырос рядом, а я и не заметил. У меня была попойка в это время... Баобаб рухнул всей своей тяжестью на Игоря.

...Надо срочно позвонить тому сыщику. Боже! Как же его звали? Мертелов! Максим Мертелов. У него глаза... Этот поймет.

Нужно ехать! К ним, на Петровку... Он же определенно оттуда. И спросить на входе, у охраны.

Я поднимаюсь и иду к двери, быстро собираю документы на машину, ключи, беру мобильный телефон, еще что-то... Останавливаюсь быстро записываю в блокноте и сую его в карман: «Германн, чайный, грузчик, ангина». Это, чтобы не забыть, чтобы грело, беспокоило, чтобы торопило. Я всегда так делаю. Ставлю пьесу, но сначала – несколько слов, основных, толковых. Это – как название романа у Игоря. Есть название – есть уже роман. Хоть еще и не написан, хоть еще и в голове. Он мне так говорил. Он был Учителем! Моим Учителем! Долг ученика спросить с убийцы!

Открываю дверь и выхожу...

История второго преступления

А имеют ли преступления свои особые истории? Не слишком ли это доверчиво с нашей стороны думать, что они – то самое явление, которое вправе стоять в ряду обыкновенных общественных отношений.

Как уже было сказано, преступления похожи друг на друга, как животные одной породы. Только одни крупнее, другие мельче. Но кусаются, либо царапаются, либо бьют копытом все.

Хуже всего бывает, когда преступления выстраиваются в ряд. Их обычно называют сериями. Они становятся городским кошмаром. Серия формирует мистический сценарий, а так как мистика чаще всего необъяснима, то и пугают эти серийные преступления как кладбищенские ужасы.

Тот, кто их свершает, наслаждается паническими страхами горожан. Он и сам начинает верить в мистику преступления. А себя даже может возомнить рукой божьей. В особых же, в самых клинических случаях – звериной лапой сатаны. Это одна из самых опасных патологий психики, в основе которых не просто бред сумасшедшего, а глубокое повреждение того, что зовется социальным самосознанием, определением своего места в системе человеческих отношений. Сопровождается это, как правило, долгим и настойчивым изучением религиозной и атеистической литературы, разного рода темных философий, подвергающих сомнению церковные догмы в том виде, в котором они официально приняты. Это – подмена нравственных ценностей, их переосмысление в сторону негативных оценок. Подобные люди очень часто обладают высоким интеллектуальным потенциалом, и в то же время они глубоко ушербны, несчастны, одиноки.

Многие психиатры считают, что в основе таких помешательств лежит всё та же сексуальная патология, имеющая тяготение к садомазохистским и некрофилическим отклонениям в психике. Возможно, это так и есть, в подавляющем большинстве случаев. Но при этом природа сумасшествия не требует от психопата какого-либо утонченного интеллекта. Тут всё прямо: искажение интимных, личностных самооценок, торопливое, поверхностное философствование по этому поводу, имеющее на самом деле своей целью скрыть истинную природу расстройства, и далее сразу следует жесточайшая серия преступлений.

У людей же с развитым интеллектом всё куда сложнее. Они осознают, в конечном счете, истинную природу болезни, то есть ее острую сексуальную основу; но тем настойчивее они копаются в сложных философских догмах и даже в учебниках психиатрии. Когда в их головах складывается цельная картина, они сами ставят себе, как им кажется, верный диагноз и даже возводят его в ранг собственной, талантливой философии. Тем самым они скрывают от себя так же, как их неинтеллектуальные собратья по болезни, истинную причину заболевания. С этого момента они неудержимы. И в то же самое время, расчетливы и предусмотрительны.

Олег Павлер, постановщик оригинальных пьес на нескольких московских малых сценах, давно думал о драматическом произведении, в котором мистический ряд жестоких серийных преступлений показал бы не столько суть того, что происходит, сколько суть того, кто и зачем это делает. Ему это почти удалось. Да вот смерть помешала.

Същик Максим Игоревич Мертлов по прозвищу Наполеон, подполковник уголовного розыска.

Меня за глаза называют «Наполеоном». Неприятно сознавать, что за малый рост, за плохо скрываемые властные амбиции и за любвеобильность. К тому же, никакой особенной власти у меня в руках не сконцентрировано, зато присутствует малый рост и стремление компенсировать свои внешние и карьерные недостатки исключительным «донжуанством».

Но всё по порядку. Итак, власть! Бодливой корове, как известно, бог рогов не даёт. Это относится ко мне самым прямым образом, потому что я – человек властный по своей природе, «лев» по зодиаку, и стоит мне заполучить в руки хоть каплю большой власти, я сразу начинаю ею неразумно распоряжаться. Во-первых, вывожу на чистую воду всяких прохиндеев, которые постоянно норовят окопаться в нашем профессиональном эшелоне. Я их хватаю за грудки, трясу как яблоню и навешиваю на них уйму тяжелой работы с безумной, по их понятиям, ответственностью. У нас таких типов приживается больше, чем где бы то ни было и если их грузить, словно товарный эшелон, то они, в свою очередь, нагрузят кого угодно вокруг себя.

Во-вторых, я вытаскиваю за «ушко и на солнышке» лодырей и вынуждаю их до мышечных болей делать самую нудную работу.

В-третьих, я тащу наверх, насколько это от меня зависит, тех, кто пришел к нам не для того, чтобы сделать здесь блестящую карьеру, а из дурацких, романтических убеждений. Они обычно вкальвают больше других, а получают меньше всех. Это – рабочие лошадки. Нагружают их до предела, кормят мало и бьют до смерти. Я сам отношусь к этой категории, но ведь я еще и властолюбив!

Насчет роста... то тут уж каким уродился. Я не верю в переселение душ, а, значит, другого шанса у меня не будет. Приходится довольствоваться этим... несовершенным физическим состоянием до конца жизни.

В школьные годы я всегда стоял вторым от конца на занятиях по физкультуре. Ниже меня была только девочка Лия, микроскопическая грузиночка. Я даже совершенно серьезно думал, что когда-нибудь на ней женюсь, потому что поблизости никого более подходящей по росту не видел и даже не представлял себе, что это возможно. Однако классе эдак в седьмом или в восьмом я все же обогнал еще троих своих сверстников и перестал коситься на Лию.

Она, между прочим, сразу после окончания школы вышла замуж за одного из тех, кого я обогнал по росту. Он стал видным конструктором в каком-то мирном космическом бюро, а она известной поэтессой. Живут теперь в Америке (он работает над какими-то совместными с НАСА проектами), нарожали четверых «нано-детюшек», то есть таких же микроскопических, как они сами, и все безмерно счастливы.

Конечно, на его месте вполне мог быть и я, но вот по математике у меня была тройка с тремя минусами или двойка с одним плюсом. Я подходил его поэтессе только по росту, но не способностями. Это следует признать!

В девятом классе, когда я влюбился в самую высокую девочку в школе, я решил разыскать клинику, в которой за год вытягивали человека аж сантиметров на двадцать. Для этого надо было лежать целый год в каких-то жутких распорках и терпеть невероятные боли в костях ног, в суставах и в позвоночнике, да еще не стесняться ходить в больничную утку и позволять себя мыть во всех местах. Терпеть боли я был внутренне готов, а вот с уткой и с подмыванием никак не мог согласиться. Так что, я остался при своем росте – один метр шестьдесят восемь сантиметров. Везде в анкетах, где нет дополнительной медицинской проверки, но где требуется указать свой рост, пишу – один метр семьдесят сантиметров. И даже себя почти убедил в этом. Подумаешь, два сантиметра! Им все равно, а мне приятно.

И, наконец, любвеобильность. Тут все по Фрейдю. Я, как особь, должен доказать свою мужскую состоятельность. Она, правда, чаще, чем хотелось бы, упрямствует, но мощь любой мышцы достигается лишь путем ее постоянной тренировки.

Готов поклясться, что это самая трудная и самая ответственная в мире работа. Она всё же основана на природных инстинктах и на природных же ограничениях. Когда эти самые ограничения опережают те самые инстинкты, делается очень грустно. Но я не унываю и постоянно утверждаю себя.

«Весь в корень пошел», – язвят обо мне мои высокие от природы коллеги.

«Чтоб ты провалился, кобель легавый!» – в сердцах говорит моя Майка, моя милая, многострадальная женушка.

Наша дочь, девица семнадцати лет, считает меня хорошим парнем, но несколько порочным. Жена – порочным парнем, но все же не очень плохим.

Им невдомек, чем руководствуется моя психика, когда толкает меня, низкорослого, властолюбивого на любовные похождения. Зигмунд Фрейд давно почил, и обыватели ему не верят, потому что сами давно опошлили его славное имя. Эти пошляки считают его чуть ли не отцом научной порнографии, а на самом деле он как раз идейный противник всякой порнографии, потому что как только некое, даже крайне вульгарное явление, обосновывается с исследовательской, теоретической и практически-лабораторной точки зрения, то оно сразу же становится научной дисциплиной.

Я думал обо всём этом сквозь наплывавший на меня сон, который был слишком ранним для ночного и слишком поздним для полуденного. Из крематория, где «утилизировали» Игоря Волея, я поехал сразу домой. Устал, много впечатлений, надо бы поваляться, подумать, систематизировать их. Поваляться на работе не получается, поэтому поехал домой. Майка в своей редакции, Лилька, наша дочурка, где-то шатается со своими сокурсниками.

Прилег подумать и сразу провалился в сон. Очнулся в панике от того, что вижу, как у меня прямо из-за пазухи чья-то загорелая костлявая рука крадет алмаз, огромный такой, голубой. У меня никогда не было алмазов, ни голубых, ни прозрачных, никаких других, но во сне ведь можно быть кем угодно и обладать чем угодно.

Поднимаюсь и иду к компьютеру, чтобы посмотреть в сонниках, что это значит – «украсть алмаз». Оказывается, это есть только у Миллера:

«Видеть – к неприятностям, обладать – почет и уважение, терять – бесчестье, нужда, смерть».

Я его как раз потерял, то есть у меня его украли, а это – одно и то же. Значит, если иметь в виду мою службу в отделе по расследованию убийств, который теперь из-за бесконечных телесериалов все называют «убойным», это – к смерти.

На всякий случай звоню дежурному офицеру по управлению уголовного розыска. Так, для очистки совести...

«На ловца и смерть бежит! – вдруг докладывает мне дежурный Генка Пехотин – В вашем отделе эту поговорку приказано именно так произносить, Мертелов».

«Что опять стряслось?» – спрашиваю, замирая и проклиная этого чертового Миллера с его сонником.

«Олег Павлер – такое сочетание тебе знакомо, Мертелов? Так вот, лежит холодненьким у себя в Сабурово на лестничной площадке. Мне приказано разыскать тебя и отправить туда как можно скорее. Машину высылать или сам доедешь, лодырь?» – говорит Пехотин, не давая вставить ни слова.

«Адрес, – хрипло произношу я. – Точный адрес, трепач чертов!»

Я еду в своем стареньком универсале «Пежо-406» по адресу, полученному от Пехотина. Очень люблю эту машину – изящный итальянский дизайн⁵ и великолепный французский вкус. Ничего лишнего, ничего раздражающего. Ну и пусть, что старая. Я тоже не молодой... И тоже пока ничего. Есть своя эстетика... Эти машины французы уже лет пять, как не производят. Но и таких, как я, тоже уже нет в продаже, и, тем более, в производстве. Так что, у нас с моим древним «пыжиком» полнейшая гармония. Мы оба это знаем и стараемся друг друга поддерживать в меру сил.

⁵ Автором дизайна стало итальянское кузовное ателье Pinifarina. Иной раз, в обиходе автомобиль называли «французским «Феррари».

А Пехотин страшно обиделся на «трепача» и даже сначала не хотел давать адрес. Узнай, мол, у начальника своего отдела, «если такой умный». Я убедил его (все же я властный тип!) быть со мной полюбезнее.

У подъезда опять стоит автомобиль телекомпании «Твой эфир». Они уже закончили свою работу и сворачиваются. Корреспондент Алла Домнина покуривает в стороне, пока знакомый уже мне оператор пакует электрические шнуры, ему помогает шофер и какой-то безликий парень с блуждающим взглядом. Обычно, в больших компаниях, съемочная группа состоит еще и из инженера ТЖК, что означает «тележурналистский комплекс». Это – остаточное явление советских времен, когда сложную технику обслуживали специально обученные в профессионально-технических училищах люди. Они гордо назывались инженерами, отвечали за кнопки, провода и, главное, за сохранность аппаратуры. Теперь всё оптимизировалось, все кнопки расположены на одной панели, а провода упаковываются в один черный вместительный кофр. Исчезли и осветители со своими допотопными лампами-пятисотками, с нелепыми штангами и треногами для них. Всё умещается в другом кофре, легком и элегантном. Раньше, я припоминаю, осветители, люди, как правило, веселые, сильно пьющие, таскали с собой старорежимные фибровые чемоданы с никелированными замочками и связки тяжелых черных проводов. В малых частных компаниях, похоже, всё поняли быстро – оператор и шофер заменили собой всех. Но у телекомпании Бобовского этот атавизм, видимо, сохранился, правда, в весьма скромном выражении: инженер превратился в обычного помощника оператора, в грузчика, в носильщика, а также ещё в осветителя и в звукооператора. Я с трудом припоминаю, что тот же безликий, незапоминающийся образ был и на квартире Волея.

Люди этой синтетической, я бы даже сказал, «компонентной», профессии очень обижены на жизнь. Они считают крайне несправедливым то, что их зачисляют даже не во второй, а в третий эшелон великого искусства телевизионной лжи. А ведь без них ни одна ложь невозможна! Ну кто соединит между собой свет и тень и потом разведет их в правильной пропорции; кто включит звук, даст возможность тончайшей аппаратуре записать нужные колебания; кто правильно, без изломов и перекосов, сначала подключит, а потом свернет провода, аккуратно и терпеливо уложит их в кофры; кто надежно упакует хрупкие лампы; кто, в конце концов, взвалит на себя дорогостоящую камеру со штативом и сохранит всё это в достойном рабочем виде; кто при поломке или искажении картинки во время далекой командировки влезет в мистически загадочное, высокотехнологичное нутро камеры обычной отверткой, лезвием перочинного ножика и кривой медной провололочкой, и всё заработает вновь неизвестно почему!

Ну, разве это третий эшелон? Вот поэтому глаза у таких профессионалов всегда печальные, лица смазанные, а движения точные, хоть и порывистые.

Всё это пришло мне в голову немедленно, как только я вышел из машины и увидел съемочную группу. Мне о них всё известно от старины Бобовского и еще от одного нашего с ним старого приятеля, Димки Пустого. Вот уж, кто отлично знает утомительную стряпню на этой кухне... Они в этом густом бульоне целую жизнь варятся.

Алла Домнина видит меня и лучезарно улыбается, приветливо машет рукой.

«А мы уже снимали! – кричит она мне. – Раньше вас приехали. Идите к нам на работу – научим оперативности».

Я ворчу себе под нос что-то о Пехотине, который, видимо, прежде чем начать искать меня, нашел компанию Бобовского. А я, между прочим, нашелся сам. То есть меня он выдрал из сна, но нашелся-то я все-таки сам. Уже давно!

Захожу в подъезд, смотрю вверх и начинаю подниматься пешком, а не на лифте. Это – чтобы успокоиться.

Над распростертым около двери своей квартиры телом Олега Павлера склонился молодой судебный медик, рядом сидит почти юная следователь из местной прокуратуры и растерянно стоят трое молодых местных оперативника.

«Ну, что вы тут выстроились! – ору я на своих коллег. – Весь дом уже обзвонили, обегали, опросили? Поквартирный обход был?»

Они одновременно кивают.

«Никто ничего не видел, – отвечает один из них, среднего росточка паренек с лицом рязанского крестьянина начала двадцатого столетия. – Честное слово, Максим Игоревич!»

Как меня зовут, знает, паршивец. Наверное, Пехотин уже сюда звонил, в местный отдел.

«Стилетом, прямо в сердце, одним ударом, – не поднимая глаз, явно мне говорит судебный медик. – Красивый удар, как в шекспировской трагедии. Умелый!»

Красивый удар? Бывает же такое! Режиссера-постановщика убивают классическим шекспировским ударом – в сердце, в горячее его сердце, в любящее и страдающее. Красивый удар!

Я нагибаюсь к юной прокурорше и томно шепчу ей на ухо: «Позвольте покопаться в карманах».

Она растерянно кивает и краснеет. Я усмехаюсь про себя и думаю, что только такая циничная, профессиональная скотина, как я, может кокетничать над телом человека, который пару дней назад произвел на меня самое благоприятное впечатление.

Склоняюсь над трупом и нагло шарю по карманам. Осмотр, оказывается, только-только, начался поэтому до содержимого карман руки у следственной группы еще не дошли.

Вижу краем глаз, как любопытствуют за моей спиной трое оперативников. Оборачиваюсь и шикаю на них:

«Марш отрабатывать жилой сектор, черти! Нечего тут без дела торчать!»

Они ворчат что-то себе под нос и распадаются по этажам. Я слышу, как шаркают подошвы их обуви. У сыщика, особенно с «земли», обувь должна быть надежная – по сезону теплая или прохладная, достаточно тяжелая, чтобы можно было дать кому-нибудь ногой куда следует и неслышная, чтобы не скрипела, когда не следует.

С этим ребята справляются, а вот со всем остальным как-то не очень. Скучно им служить! Времена такие наступили – скучно там, где не доплачивают за каждый лишний шаг. Никакой романтики! Вот таких шельм и лодырей я и загружаю самой нудной работой, как только ко мне в руки попадает хоть грамм власти. Как сейчас, например.

Кроме ключей от квартиры, от машины, личных документов и прочей ненужной мне мелочи, нахожу небольшой блокнотик с воткнутой в его переплет маленькой шариковой ручкой. На последнем листочке читаю торопливые слова: «Германн, чайный дом, грузчик, ангина».

Разглядываю ручку, она немного подтекает – дешевенькая, старенькая. Быстро хватаю бездыханного Олега Павлера за правую руку, поворачиваю ее и опускаю обратно. Она чистая, на пальцах нет следов подтекающих химических чернил, как на ручке. Значит, писал эти слова в блокноте давно, и они могут не иметь никакого отношения к его смерти. Но «Германн»! Что за Германн? Это я уже один раз видел.

Выпрямляюсь, вздыхая и, держа в руках блокнот, медленно отхожу в сторону.

Сверху быстро спускается тот самый оперативник с лицом рязанского жителя начала двадцатого столетия. Похож на Есенина, словно одной породы, но только нос уж больно картошкой. На этот раз он не смущен, а возбужден чем-то, потому что лицо стало пунцовым, глаза блестят, губы повлажнели. Он определенно что-то обнаружил.

«Максим Игоревич... там женщина одна... похоже, она видела убийцу... она с ним столкнулась в подъезде. Говорит, что видела его и раньше где-то, но не может вспомнить точно где».

Я ощущаю в душе некое знакомое чувство, которое предвещает обычно погоню и захват. Это как чтение сонника о ночных видениях. Что-то копошится в мозгу, что-то нервирует, а что именно, не понимаешь пока. И это очень, очень волнует!

Киваю и в несколько широких шагов поднимаюсь к оперативнику, который даже еще не успел спуститься ко мне. Потом я вдруг замираю и смотрю в стену. Я всегда смотрю в стену,

когда хочу что-то вспомнить. Но что именно! Что меня так злит сейчас? Что я только что упустил?

Как будто в немом фильме передо мной выплывает недавняя мизансцена: Олег Павлер идет мимо меня, а я сижу в чужой гостиной, за чужим, прапорщицким, столом. В прихожей дежурит грудастая Надюша. Хороша она была все же, эта домработница! Напрасно я не осмотрел с ней прапорщицкую спальню!

Но беспокоят меня сейчас не эти воспоминания, а совсем другие: Павлер останавливается, извлекает из кармана блокнот, тот самый, который сейчас лежит в моем кармане, ручку... она тогда не текла, это я точно помню. Она была чистая. Павлер записывает мне свой телефон и говорит о том, что непременно должен помочь нам. Он протягивает мне записку... Стоп! Он пишет и протягивает руку с запиской... Он же левша! Павлер – левша! Это я точно помню. Краешком сознания тогда, совершенно автоматически, я отметил это.

Быстро разворачиваюсь, в один прыжок оказываюсь на лестничной площадке, на которой юная следователь и дотошный судебный медик делают свою печальную работу и, извинившись шипящим шепотом, хватаю левую руку Павлера. На безымянном и указательном пальце ясно вижу всё еще маслянистые следы от текучей шариковой ручки.

Павлер писал эти пять слов: «Германн, чайный дом, грузчик, ангина» за пару минут до своей смерти, иначе чернила бы высохли, затвердели, а они всё еще мажутся, всё еще поблескивают микроскопическими капельками на его холодной уже руке.

«Германн, чайный дом, грузчик, ангина» – это надо запомнить, это надо обдумать, как следует! Два «н» в имени, как в той записке в доме Волея, на подоконнике. Вот, где я это уже видел! Откуда это, почему? Интересно бы посмотреть записи режиссера-постановщика Павлера, когда он обычно готовился к своей работе. Он ведь определенно писал для себя нечто короткое, ёмкое, чтобы вбить в свою голову что-то очень важное, очень нужное. Нужно определить алгоритм его мышления, его привычку думать, рассуждать, делать выводы. Это многое даст в дешифровке последней записи. Возможно, это «адрес» убийцы...

Я листаю записную книжку, быстро, нервно, и вижу, что на некоторых страницах, уже, должно быть, давно начертаны ряды каких-то слов. Ну, конечно! Это его мысли, его идеи, которые он записывал каждый раз, когда что-то озаряло его творческое сознание. Он боялся потерять то тонкое чувство, которое давали ему слова, и записывал их в ряд, в нервный, трепещущий ряд понятий, образов. Привычка, метод...

«Германн, чайный дом, грузчик, ангина»... Мне это что-то определенно говорит! Что-то очень далекое! Но что? Что?

Смотрю на удивленного моими манипуляциями «рязанца» и резво поднимаюсь к нему.

«Ну! Есенин! – почти весело говорю я. – Где твоя ценная свидетельница?»

«Почему Есенин?» – еще больше удивляется он.

«Потому что ты похож на него или на его земляка! – улыбаюсь я. – Земляка его юности. Рязанец...»

«Я не рязанец! – будто обижается он. – Москвич, коренной».

«Ну, извини, брат, – пожимаю я плечами, – ошибся. Не сердись, веди меня скорей к той достойной даме».

«Достойная дама» оказалась стареющей, худосочной простоватой бабенкой, которая где бы ни жила, всегда собирала всякие не касающиеся ее подробности о своих соседях. Это – редчайшая находка для сыщиков и бандитов. Ее не надо вербовать в агенты, ей не надо платить, ее надо только слушать – и будешь знать всё о том месте, которое тебя интересует. Наблюдательность таких женщин превосходит наблюдательность самоуверенных профессионалов. Дедуктивный метод великого книжного сыщика мистера Шерлока Холмса с далекой Бейкер-стрит – жалкие потуги в сравнении со «склочным» методом такой свидетельницы.

«Гляжу, – рассказывает она мне, облизывая губы и задыхаясь от непреодолимого желания высказать всё и сразу, лишь бы не перебили, – идёт. Высокий такой, светловолосый, глаза светлые, в джинсах, в курточке замшевой, бежевой, ботинки со шнуровкой, грязь на них засохшая, глина... Лет ему за сорок, а, может, и больше. Худой, лицо белое, бледное... В руках сверток... бумага какая-то, плотная. В ней, наверное, нож был».

«Почему нож?» – спрашиваю удивленно.

«А как же! – обижается она. – Чай не дураки мы! Он пакет тот осторожно держал, за краешек. Чтобы самому не порезаться, не уколаться. Я на рынок на прошлой неделе носила кухонный нож... поточить... Сейчас, знаете, точильщика хорошего не найдешь! Продают одни китайские ножи, которые как затупятся, так ты их хоть о точильный камень стещи, всё тупее тупого будут. Так что, старые-то наши ножи люди берегут. Хоть и ручки раскололись, ободрались, всё равно лезвие ни с чем не сравнить! Из поколения в поколения передавали такие инструменты. Молодые-то теперь ни черта не понимают! ...Да... так мне его наточили на рынке, я завернула в газетку и несу осторожненько, чтобы не порезаться, за ручку... и чтоб не развернулся. Ну, вот этот... высокий, светлый, тоже так свой пакетик нес. Нож это! Голову даю на отсечение!»

Она будто испугалась своей клятвы и краснеет, потирая длинную, морщинистую шею. Женщина выше меня на полголовы, поэтому я эту ее шею вижу ясно, прямо перед глазами.

«А почему вы решили, что он убийца?» – спрашиваю намеренно недоверчиво, чтобы возбудить ее возмущение. Я знаю, как раскрутить таких свидетелей.

«Ну, даёт! – женщина с загорающейся возмущенной усмешкой смотрит на «рязанца», призывая его посмеяться надо мной. – А кто же он! Я – из лифта, а он в лифт. Ну, думаю, чужой к кому-то приехал. Должно быть, к Снежке на седьмом. К ней разные ходят... сомнительные, курят на лестнице, даже блюют иногда! Сколько раз участковому говорила, этому жирному борову, а тот только красной мордой своей водит и водит! Чего вы только их держите таких!..»

В этот момент по лестнице, тяжело дыша, поднимается действительно «красномордый», толстый, пузатый, я бы даже выразился – «брюхатый», мужчина в милицейской форме. На плечах скукожились капитанские погоны. Он слышит последние слова свидетельницы и рычит по кабаньи:

«Тебя не спросили, стерва сушенная!»

Я оборачиваюсь к нему и не могу сдержать улыбки, но тут же прячу ее в морщинах своего стареющего лица и говорю как можно строже, играя на нужную мне свидетельницу:

«Поздно приходите на место происшествия, капитан!»

Он смущается, полыхает еще больше, еще гуще, и беспомощно разводит руками. Под мышкой зажат обтрепанный портфельчик. Наверное, с ним когда-то его сын-первоклассник ходил в школу и хватал свои законные двойки. Замечаю с раздражением, что становлюсь таким же наблюдательным, как эта свидетельница. Не к добру, к старости, потому что это знак склочности.

«Ну, ладно, – поворачиваюсь к свидетельнице, – что там было с лифтом-то?»

«С лифтом? – удивляется она, растерянно оглядывается, но потом быстро приходит в себя и машет длинной, худой рукой с тонкими кривыми пальцами. – С лифтом ничего. Лифт здесь ни при чем! Нормально работает, техником-то тут мой зять... Он и не такие лифты знает! Остановилась, в общем, кабина на этаже этого додика, режиссера... Павлер его зовут. Он – голубой! Точно!»

«Откуда вы это-то знаете? – возмущаюсь до крайности я. – У вас что, зять и в этой области специалист?»

«При чем здесь зять! – блестит она на меня злющими глазёнками. – Он у меня нормальный. Дочь спросите! Я сама, что ли, не вижу! Ходит этот режиссер эдак... как танцует... пла-

вает, прямо... глядит затравленно, глаза свои бесстыжие вниз опустит, губешки надует, облизывается... Точно – голубой!»

«У него бывали мужчины? Дома, я имею в виду?» – спрашиваю серьезно, чтобы оборвать поток ее странных наблюдений. Они, может быть, и нужны, но противно же до невозможности!

«А как же! С работы. Может, такие же, а, может, и нет. Только вот этот, который с ножом в упаковке, ну... на лифте который поднялся, этот – мужик! Орел! Он не из этих!» – она будто хвалит убийцу.

«Орел, говорите? – зло усмехаюсь я. – Ну, ну...»

«Я имею в виду... мужского рода, как бы сказать, – наконец, смущается она. – Настоящий... здоровый...»

Она вдруг устало машет рукой и вздыхает:

«Мне его лицо знакомо. Видела я его где-то раньше. Это – точно! У меня на лица память! Но вот где, когда! Хоть убей! Бандит он, точно! Это я не то что чувствую, а помню. Я его в связи с бандитизмом и видела!»

«Не понимаю, – пожимаю я плечами, – вы какое отношение к бандитизму имеете?»

«То-то и оно, что никакое! – будто с сожалением заявляет она и испуганно пригибается ко мне. – А тут, выходит, имею. Бандит он, и видела я его среди бандитов».

«Может, во сне?» – ухмыляюсь я.

«Может и во сне...» – вдруг соглашается она.

«Что дальше было?»

«А ничего, – отвечает, пожимая плечами, – «лифт у Павлера на этаже остановился. Я стою, жду, прислушиваюсь. Потом слышу, будто наверху что-то тяжелое валится. Я даже пару шагов по лестнице наверх сделала. Потом, думаю, выйду из подъезда, погляжу со стороны. Мало ли чего! Тем более, рожа-то мне его показалась знакомой, бандитской. Ну, я вышла и в садик напротив подъезда, за кусты. У нас хороший садик, заботятся люди... не то, что в других дворах... А этот выходит, быстро так, с пакетиком в руках, оглядывается по сторонам и бегом. Я сначала, вроде, за ним, а он шаст за угол и был таков. Наверное, машина у него там, около магазина, стояла. Пойди, разберись. Их там десятка два каждую минуту, приехали, уехали. Тыщу раз говорила домовому начальству – закройте шлагбаумом, чтоб не шастали... Пройти же невозможно, надымят... а то и переедут, смотрит не зевай!»

«Это вы сообщили об убийстве?» – обрываю её.

«Я. А как же! Поднялась к Павлеру, вижу... такое дело, к телефонной будке и звоню», – отвечает она гордо.

Я строго смотрю на «рязанца»:

«Что же вы ее сразу-то не допросили?»

«Так ведь она не назвалась, – растерянно оправдывается он, – Позвонила и трубку бросила».

«Почему вы не назвали?» – смотрю снизу вверх в глаза свидетельнице.

«Я чего, нанялась к вам?» – ворчит она и делает попытку уйти.

«А сейчас почему разоткровенничались?» – злюсь я.

«Этот, ваш... наехал... говори, мол, что и как. Ну, я и дала слабинку...» – будто оправдывается она и косится на «рязанца».

«Назовите хоть теперь себя», – вздыхаю я.

«Соболевы мы. Анастасия Иванна. Из семьдесят восьмой квартиры», – отвечает она, прозвонив свое отчество с привычным сокращением и в несколько бойких шагов поднимается на пролет выше, будто удирает от нас, от троих.

Оттуда она кричит и тут же убегает еще выше, к себе на этаж:

«Бандит он! Точно! Видела я его! Но где, не скажу, потому как не помню! А этот голубой! Развели их... и тех, и других, потом честных людей спрашивают... Власть, называется! Тоже мне...»

Мы все трое переглядываемся, и я молча начинаю спускаться ниже. Меня догоняет «рязанец», за ним, тяжело переваливаясь с боку на бок, идет кабан в капитанской форме.

«Максим Игоревич! – виновато говорит мне на ходу «рязанец». – «А у меня бабка с дедом-то, отца родители, из Рязанской губернии, Старожиловского уезда. Это я постеснялся вам сказать. Они в двадцатом в Москву приехали, на заработки. У них там голодно было...»

Я улыбаюсь ему и киваю. Кабан сзади недовольно сопит. Смотрю на него с презрением. Он тут же говорит мне с хрипотцой и с одышкой:

«Этой, Соболевой, верьте. Она хоть и стерва первостепенная, но всё обо всех знает. А зять у нее алкаш. У него бутылка – любовница, а жена – враг первостатейный. Потому что они с тещей... Соболевой, ему морду бьют постоянно. Потом еще жалуются, что он их гоняет. Заявлений куча! А всё требуют от меня – в срок рассматривай, в срок. Дать бы им всем срок... дин на троих хотя бы! Что касаето того, что тот, убийца который, из бандитов, так это она чего-то заговаривается. Какие у нас тут бандиты! Алкаши, как ее зять, имеются в полном достатке, с другими даже поделиться можем, с радостью, можно сказать. А вот бандитов тут не бывает. Чего им тут делать?»

Я опять киваю и убыстряю шаг.

Сегодняшний день оказался слишком длинным – сначала похороны Игоря Волея, потом убийство Олега Павлера. О своих впечатления о похоронах потом... устал я чего-то. А там ведь тоже были свои впечатления, свои мысли...

Молча наблюдаю за следственной группой, которая всё никак не закончит осмотр тела, молодые все, неопытные. Спрашиваю, наконец, разрешения заглянуть в квартиру Павлера. Следователь безразлично пожимает узкими плечиками. Захожу, осматриваюсь. Скромненько, бедненько, одиноко. Вот, что скажешь об этой холостяцкой малогаборитке. На стенах несколько обтрепанных афиш с именем Павлера и с названиями его спектаклей, какие-то серые, невзрачные портретики, безыскусная иконка, вырезка из цветного журнала с фотографией Волея. Он на ней смеется, смотрит в камеру хитро, с прищуром.

Вот и всё. Закончилась жизнь неудачника. Хотя, кто знает, может быть, большой неудачник тот, кто его пережил и сейчас бродит по квартирке и не знает, за что ухватиться, что открыть и рассмотреть!

Тяжелый день. Печальный день. Сколько их еще впереди?

История одного телевидения

Вопрос, который задал себе Олег Павлер у Митинского крематория, является ли телевидение искусством или ремеслом – весьма острый для тех, кто делает это телевидение и для тех, кто с раздражением, но все же смотрит его.

Раздражение телезрителей схоже с раздражением курильщика, желающего бросить это пагубное занятие и не находящего в себе достаточно сил для этого. И аргументы есть более чем убедительные, и разум подсказывает, а вот сил отказаться нет.

Это – не болезнь. Это – порок. Причем, порок двусторонний: и у тех, кто его отправляет, и у тех, кто его смакует. Двойной порок.

Телевидение пришло к людям в середине двадцатого столетия несмело, стеснительно, как вдруг открывшаяся замочная скважина, за которой обнаружилась жизнь. Лишь с развитием техники стало ясно, что жизни там никакой нет, а есть лишь ее имитация. Но имитация такой убедительности, такой силы, что вполне может для многих заменить саму жизнь.

Генеральный директор, он же – владелец телекомпании «Твой эфир» Андрей Валентинович Бобовский по прозвищу Мамон

Почему у меня такое прозвище и почему я не возражаю против него? Очень просто – в первом ответе ответ на второй вопрос.

Мамон или Мамуна – демоническое существо, бес, фантастический зверь, обитающий под землей. У некоторых наших древних народов – это символ богатства, власти. В Нижнем Новгороде, в Рязани, по всей Сибири о Мамоне ходят легенды, леденящие кровь. Жадный, всесильный, необоримый и хитрый.

Я тоже – жадный, всесильный, необоримый и страшно хитрый.

В русском языке это слово вылилось в слово «мамонт», то есть – мохнатый зверь, древний предшественник слона, живший на просторах Сибири и оставивший в память о себе гигантские бивни, огромные черепа и частокол ребер.

В болгарском языке – это слово транслировалось в слово «маймуна», то есть – обезьяна. Я, между прочим, по одному из восточных календарей, как раз родился в год обезьяны.

Так что же мне стесняться своего прозвища – «Мамон»? Пусть меня боятся! А боятся, по старой нашей, проверенной русской традиции, значит, уважать. На Западе это понимается иначе – ненавидеть, а у нас – уважать! По-моему, в этом тотальная разница между Западом и Востоком. В одном случае страх диктует сопротивление, а в другом – смирение.

Мне больше нравится так, как у нас.

И вот еще... Мы, православные славяне, вообще от англосаксонцев физиологически отличаемся. Даже в самом простом: они, например, от пива пьянеют, а мы им протрезвляемся. Ну как нам дружить! Ну, ладно! Это другое дело. Иная, так сказать, ипостась, как любит выражаться Димка Пустой.

В школе я был сначала тихим ребенком, молчаливым, скрытным, себе на уме. Многие считали, что даже туповатым. Мой школьный приятель, талантливый тип, тот же Димка Пустой, вообще говорил, что я так туп и так беспристрастен в этой своей тупости, что прямо-таки составляю величайший талант в своем единственном, неподражаемом, числе. Димка ставил у нас спектакли в актовом зале, мне не давал ни единой роли. Зато я стал их директором и хозяйственником. Где они сейчас все? Димка Пустой! Макс Мертел! А где я?

Я у власти, потому что телевидение – это власть. Не случайно ее первой захватывают, а уж потом берут такие крепости как Кремль.

Я начал с того, что продавал билеты на наши школьные спектакли. Сначала все возмутились, потом удивлялись, а потом стали покупать, тайком от других, шепотом, и даже переплачивать. Всё, что переплачивалось, оседало в моем кармане. Этим я ни с кем не делился. А остальное – честно опускал в общую кассу.

Однажды меня прихватили менты. Подслали какого-то своего «долбилу» и тот купил у меня четыре билета – на большее у него не хватило денег, то есть менты пожадничали. Тут меня окружили, дали по молодым ребрам жесткими, жадными кулачками, завернули умелые ручки за спину, как вольной птичке крылышки, и привезли в кутузку.

Долго допрашивали, грозились испортить жизнь родителями, потом спросили, согласен ли я «подолбить» на них, постучать, значит, а потом – сколько могу отделять им на их ментовский «общак».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.